ДЖАНЕТ ФИТЧ

БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР

Роман, который так же прекрасен и опасен,
как и белый олеандр, чье название он носит!

18+

Annotation

Астрид — единственный ребенок матери-одиночки Ингрид, которая пользуется своей красотой, чтобы манипулировать мужчинами. Астрид обожает мать, но их жизнь рушится, когда Ингрид убивает своего любовника и ее приговаривают к пожизненному заключению…

Годы одиночества и борьбы за выживание, годы скитаний по приемным семьям, где Астрид старается найти свое место. Каждый дом — очередная вселенная, с новым сводом законов и уроков, которые можно извлечь. Но мир каждый раз отвергает ее…

Время от времени Астрид навещает Ингрид в тюрьме, но та, одержимая любовью к дочери, завистью и ревностью, пытается управлять ее жизнью. Девушка старается вырваться из-под удушающей опеки матери и следовать своим путем…

Джанет Фитч
Белый олеандр

Посвящается мужчине из Каунсил-Блафс

Janet Fitch
WHITE OLEANDER
Печатается с разрешения издательства Little, Brown and Company, New York, New York, USA и литературного агентства Andrew Nurnberg.
© Janet Fitch, 1999
Школа перевода В. Баканова, 2017
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017

Глава 1

Горячий пустынный ветер Санта-Ана иссушал и выбеливал остатки весенней травы. В такой жаре блаженствовали только нежные ядовитые бутоны и заостренная зелень олеандров. Душными сухими ночами мы — я и мама — не могли спать. Однажды я проснулась в полночь и обнаружила, что ее кровать пуста. Поднялась на крышу и сразу же заметила светлые, точно белое пламя, волосы в свете неполной луны.

— Время олеандров, — промолвила мама. — Любовники, убивая друг друга, спишут все на этот ветер.

Она подняла крупную ладонь, позволяя жаркому дыханию пустыни лизать расставленные пальцы. Когда дул Санта-Ана, мама становилась сама не своя. Мне только-только исполнилось двенадцать, и я за нее боялась. Мечтала, чтобы все стало как прежде, чтобы ветер стих и с нами вновь был Барри.

— Поспи немножко, — попросила я.

— Я никогда не сплю.

Мы сидели рядом и смотрели на город. Он гудел и поблескивал, точно чип в глубине диковинного компьютера, храня секреты, как игрок в покер. Ветер распахнул мамино белое кимоно и обнажил низкую полную грудь.

Я положила голову ей на колени, вдохнула аромат фиалок.

— Мы Жезлы, — произнесла она. — Ищем красоту и гармонию, чувственность предпочитаем сентиментальности.

— Жезлы, — повторила я, показывая, что слушаю.

Наша масть Таро. Когда-то она раскладывала для меня карты, объясняла масти: Жезлы и Денарии, Кубки и Мечи. Теперь прекратила — не хотела знать будущее.

— Цвет волос достался нам от викингов, — продолжала она, — косматых дикарей, которые крошили в щепу своих идолов и вялили мясо на деревьях. Наши предки разграбили Рим. Бойся лишь немощной старости и смерти в постели. Не забывай, кто ты!

— Не забуду.

Внизу на улицах Голливуда выли сирены, пилой проезжаясь по нервам. В сезон Санта-Ана эвкалипты вспыхивали, словно гигантские свечи, огонь бежал по смолистому чапаррелю, гнал отощавших койотов и оленей с холмов вниз на Франклин-авеню.

Мама подняла лицо к обожженной луне, купаясь в ее зловещем свете.

— Луна сегодня похожа на глаз ворона.

— Нет, на лицо ребенка, — возразила я, не поднимая головы.

Она мягко погладила меня по волосам.

— Луна-предательница.

Еще весной такая напасть была немыслима, и все же она подстерегла нас, как противопехотная мина. Тогда мы даже имени Барри Колкера не знали.

Барри… В начале он казался маленьким, меньше запятой, пустяковее случайного кашля. Они познакомились на вечере поэзии, среди виноградных лоз в Венис. Мама, как всегда на таких чтениях, была в белом, ее волосы на фоне смугловатой кожи походили на только что выпавший снег. Она стояла под массивным инжиром, листья которого напоминали человеческие ладони. Я сидела за столом со стопками тоненьких книг от техасского

издательства «Блю-Шу-пресс» и рисовала ладони дерева и пчел, пьяно кружащих над забродившими на солнце паданцами. Я тоже захмелела — от глубокого, напоенного солнцем голоса, в котором улавливался намек на монотонные песни бабушки-шведки. Если бы вы слышали мою маму, вы бы знали силу этого завораживающего голоса.

После выступления вокруг нас столпились люди. Я складывала деньги в коробку из-под сигар, мама подписывала книги.

— Ах, эти писательские будни! — Она с иронией посмотрела на смятые пятерки и доллары в моих руках.

Мама любила чтения, так же как любила вечера с друзьями-литераторами, когда за бокалом или косячком они громили знаменитых поэтов. И одновременно ненавидела их, как ненавидела свою дурацкую работу в журнале «Современное кино», где клеила в номер заметки собратьев по перу, которые, по цене пятьдесят центов за слово, бесстыже изрыгали клише, избитые существительные и вялые глаголы (при том, что мама могла часами мучительно выбирать между «вновь» и «снова»…).

Она подписывала книги с привычной устремленной внутрь полуулыбкой, благодарила и словно бы усмехалась про себя. Я знала, кого она ждет. Я его уже видела — застенчивый блондин в майке без рукавов и ожерелье из шерстяных бус беспомощно и хмельно смотрел на нее с заднего ряда. С моим двенадцатилетним стажем в роли дочери Ингрид я вычислила бы их даже с закрытыми глазами.

Сквозь толпу пробился подписать книгу плотный мужчина с темным хвостом вьющихся волос.

— Барри Колкер. Замечательные стихи!

Она подписала и вернула книгу, даже не взглянув на него.

— Может, встретимся вечерком?

— У меня свидание. — Потянулась за следующей.

— А потом?

Мне понравилась его уверенность, хотя он был не в ее вкусе: полноватый брюнет в костюме от Армии Спасения.

Мама, разумеется, предпочитала застенчивого блондина, намного младше ее и тоже мечтающего стать поэтом. Он-то и проводил нас домой.

Я лежала на матрасе на затянутой сеткой веранде и ждала, когда он уйдет, наблюдая, как вечерняя синева тает, словно невысказанная надежда, и превращается в темный бархат. Мама с блондином ворковали в доме. В воздухе разливался аромат особых японских благовоний — дорогой, без намека на сладость, запах дерева и зеленого чая. В небе проступила россыпь звезд, однако в Лос-Анджелесе нет правильных созвездий, и я мысленно соединяла их по-новому: Паук, Волна, Гитара.

Когда он распрощался, я перешла в большую комнату. Мама в белом кимоно, поджав ноги, сидела с тетрадью на кровати и макала перо в пузырек с чернилами.

— Ни в коем случае не позволяй мужчине остаться на ночь. При первых лучах зари тускнеет любая магия ночи.

Магия ночи. Звучало очень красиво. Когда-нибудь у меня тоже будут возлюбленные, и после свидания я стану писать стихи. Я рассматривала бутоны белого олеандра, которые она утром поставила на кофейный столик, — три веточки, олицетворение небес, человека и земли — и думала о музыке голосов в темноте, мягком смехе и аромате благовоний. Коснулась цветов. Небеса. Человек. Дымка тайны. Казалось, я вот-вот в нее проникну…

Все лето я ходила с мамой на работу. Ей не пришло в голову пристроить меня в летний лагерь, а сама я не попросила. Учиться мне нравилось, но общение со сверстницами было мукой, я никак не вписывалась в их компанию. Они словно относились к иному биологическому виду, их заботы мне были так же чужды, как интересы догонов Мали. Седьмой класс выдался особенно болезненным, и я с нетерпением ждала, когда вновь смогу проводить время с мамой. Офис «Современного кино» — чернильные ручки, цветные карандаши, ватманы, прозрачные пленки, тангирная сетка, бордюрная лента и выброшенные фотографии, из которых я клеила коллажи, — стал моим раем. Мне нравились беседы взрослых. Они забывали о моем существовании и говорили удивительные вещи. Сегодня, например, авторы и заведующая отделом художественного оформления Марлин судачили о романе между владельцем журнала и редакторшей.

— Причуды помешательства на почве Санта-Аны, — заметила от монтажного стола мама. — Носатая анорексичка и хохлатый чихуахуа. Верх нелепости! Дети не будут знать, клевать им или лаять!

Замечание встретили смехом. Мама обычно говорила то, о чем остальные молчали.

Я сидела за свободным столом и рисовала жалюзи, которые резали солнечный свет, точно сыр. Хотелось, чтобы она сказала что-нибудь еще, но мама снова надела наушники, будто поставила точку в конце предложения. Она всегда работала под экзотическую музыку, представляя себя в благоухающем царстве огня и теней, а не в журнале про кино, где приходится наклеивать интервью с актерами за восемь долларов в час. Она сосредоточенно резала гранки острым ножом и отлепляла длинные липкие полоски.

— Сдираю кожу пресных писак, — пояснила она. — Потом прививаю их на страницу и создаю монстров бессмыслицы.

Авторы нервно рассмеялись.

Когда вошел Боб, владелец журнала, никто не обратил на него особого внимания. Я опустила голову и схватила рейсшину, словно занимаюсь делом. До сих пор он ничего не говорил по поводу моего присутствия, но Марлин велела «летать низко, чтобы не запеленговали». Меня он не замечал, только маму. В тот день он остановился за ее спиной, читая через плечо макет. На самом деле просто хотел постоять рядом, коснуться ее волос, белых, словно талая ледниковая вода, и заглянуть в вырез платья на груди. Наклонился ближе — я заметила отвращение на ее лице — и, словно теряя равновесие, положил ладонь ей на бедро.

Она вздрогнула, якобы от неожиданности, и невзначай полоснула его голую руку острым, как скальпель, ножом.

Он ошеломленно смотрел на проступающие бисеринки крови.

— Ой, Боб, прости! Я тебя не заметила! Очень больно?

Взгляд васильковых глаз яснее ясного говорил, что она с той же легкостью перережет ему глотку.

— Да нет, пустяковая царапина.

Ниже короткого рукава футболки-поло алел глубокий порез сантиметров пять длиной.

— Не волнуйся, ты ведь нечаянно, — добавил он чуть громче, для окружающих, и удрал к себе в кабинет.

Обедали мы среди холмов, в рассеянной тени большого платана, чья светлая матовая

кора на фоне поразительно голубого неба напоминала женское тело. Ели йогурт в картонных упаковках и слушали кассету со стихами Энн Секстон в исполнении автора. В своей пугающе ироничной манере она монотонно говорила о сумасшедшем доме и звоне колокольчиков.

Мама нажала паузу.

— Что там дальше?

Мне нравилось, когда она чему-нибудь меня учила. Мама слишком часто была недосягаема, и когда вдруг она сосредоточивала на мне взгляд, я чувствовала себя как цветок, который пробивается из-под снега под первыми лучами солнца.

Я без колебания продолжила стихотворение, словно песню. Сквозь листву нас согревал солнечный свет, а безумная Энн звонила в колокольчик, си-бемоль. Мама кивнула.

— Всегда заучивай стихи наизусть. Они станут частью твоего естества и, как фтор в воде, предохранят душу от тлетворного дыхания мира.

Я представила, как душа впитывает эти слова, точно кремниевую воду в Окаменевшем лесу, и превращает мою древесину в узорчатый агат. Мне нравилось, когда мама меня воспитывала. Я думала, что глине приятно прикосновение руки опытного гончара.

Во второй половине дня в отдел художественного оформления спустилась редакторша. Шлейф ее восточных духов потом еще долго висел в воздухе. Худая, с чрезмерно блестящими глазами и нервными движениями вспугнутой птицы, Кит нарочито широко улыбалась красными губами и резко перемещалась по комнате: глядела на макет, рассматривала страницы, останавливалась почитать у мамы через плечо и указывала, что изменить. Мама откинула волосы. Так вздрагивает кошка, прежде чем вцепиться когтями вам в руку.

— Ох уж эти твои волосы, — заметила Кит. — Не опасно? Клей все-таки…

Ее собственная иссиня-черная прическа была геометрической, растительность на затылке коротко острижена.

Мама не ответила, но ее случайно оброненный нож вонзился в стол, точно копье.

Когда Кит ушла, она повернулась к заведующей отделом:

— Она предпочла бы оболванить меня чуть ли не налысо и выкрасить под битум, как себя.

— Стойкий вампирский оттенок для ваших волос… — отозвалась Марлин.

Я не поднимала глаз — знала, что мы здесь из-за меня. Если бы не я, маме не пришлось бы работать. Она бы сейчас покачивалась на лазурных волнах на другом конце земного шара или танцевала фламенко при луне под гитару. Вина жгла меня, точно клеймо.

В тот вечер она отправилась в город одна. Я с час порисовала, съела бутерброд с арахисовым маслом и майонезом и спустилась к Майклу. Постучала в хлипкую дверь. Открылись три засова.

— Идет «Королева Кристина».

Мягкий спокойный мужчина примерно маминого возраста, но бледный и отечный из-за пьянства и постоянного сидения дома. Он улыбнулся и расчистил для меня место на диване посреди грязной одежды и выпусков «Вэрайети».

Его квартира очень отличалась от нашей. Она трещала по швам от мебели, сувениров, киношных плакатов, глянцевых журналов, газет, бутылок из-под вина и помидорной рассады на подоконниках, которая тянулась вверх к свету. Тут даже днем было сумрачно — окна выходили на север, — зато открывался потрясающий вид на Знак Голливуда. Собственно,

поэтому Майкл сюда и переехал.

— Снова снег, — произнес он вместе с Гарбо, так же, как она, обращая лицо к небу. — Вечный снег! — И протянул мне миску с семечками подсолнуха.

Я щелкала семечки, скинув резиновые сланцы, в которых ходила с самого апреля, — не решалась сказать маме, что туфли снова малы. Не хотела напоминать, что из-за меня она оказалась в ловушке счетов за электричество и вечно маленькой детской обуви, из-за меня цепляется за стекло, как засыхающие помидоры. Красивая женщина, волочащая увечную ногу. Я была этой ногой, веригами, кирпичами, зашитыми в подол платья.

— Что начитываешь?

Майкл был актером, однако снимали его мало, а от сериалов он отказывался и жил за счет записи книг на кассеты. Чтобы не иметь хлопот с профсоюзом, приходилось работать под псевдонимом Вольфрам Малевич. Каждое утро, спозаранок, мы слышали через стенку его голос. Еще с армейских времен он знал немецкий и русский. Служил в разведке, так называемой армейской интеллектуальной элите — оксиморон, как он говорил, — и ему всегда давали книги русских и немецких авторов.

— Короткие рассказы Чехова.

Майкл наклонился к кофейному столику и протянул книгу. Я полистала. Страницы пестрели комментариями, подчеркиванием и цветными наклейками.

— Мама ненавидит Чехова. Говорит, сразу ясно, зачем нужна была революция.

— Уж эта твоя мама! — улыбнулся Майкл. — Вообще-то тебе может понравиться. Чудесная меланхолия.

Мы повернулись к телевизору, чтобы не пропустить лучшую реплику из «Королевы Кристины», и повторили вместе с Гарбо: «Этот снег, точно белое море, выйдешь и потеряешься… и забудешь обо всем».

Я сравнивала мать с Королевой Кристиной, холодной и печальной, с глазами, устремленными к далекому горизонту. Именно там ей место, среди мехов, дворцов и редких сокровищ, каминов, где можно целиком поджарить северного оленя, и кораблей из шведского клена. Больше всего я боялась, что однажды она найдет туда дорогу и не вернется, потому ночами всегда дожидалась ее возвращения, как бы долго она ни задерживалась. Мне необходимо было услышать, как поворачивается ключ в замке, и вдохнуть аромат фиалковых духов. Я старалась не усугублять положение просьбами и не приземлять ее своими мыслями. Когда другие девочки клянчили обновки или жаловались на невкусный обед, я приходила в ужас. Неужели им невдомек, что они лишают матерей крыльев? Как только цепям не стыдно перед своими узниками?!

Но до чего же я завидовала, когда матери садились к ним на кровать и спрашивали, о чем они думают! Моей маме любопытно не было. Я часто гадала, кем она меня считает: собакой, которую можно привязать у магазина, попугайчиком на плече?

Я ни разу не заикнулась, что хочу иметь отца, ходить летом в походы и что иногда она меня пугает. Боялась, что она упорхнет, и я останусь совсем одна и буду жить среди кучи детей и разных запахов, где красота, тишина и пьянящие звуки маминого голоса станут так же далеки, как Сатурн.

Блеск надписи «Голливуд» потускнел из-за июньского тумана. Мягкая дымка доносила с холмов запах шалфея и чамиза, протирая оконное стекло мечтами.

Она пришла домой в два, когда закрылись бары. Одна. Ее неуемная натура была на время

удовлетворена. Я сидела на кровати, смотрела, как она переодевается, восхищаясь каждым движением. Когда-нибудь и я вот так же, скрестив руки, сниму через голову платье и скину туфли на каблуках. Я восхищенно их примерила. Год-другой, и будут впору. Она села рядом, протянула мне щетку, и я принялась расчесывать ее бледные волосы, рисуя в воздухе фиалки.

— Снова видела козлоногого, — сообщила мама.

— Какого козлоногого?

— С литературного вечера, помнишь? Ухмыляющийся Пан с раздвоенными копытами под штанами.

Мы отражались в круглом зеркале на стене: длинные распущенные волосы, голубые глаза. Скандинавки. В такие минуты я почти вспоминала, как рыбачила в холодных глубоких морях, чувствовала запах трески, видела угли костров, войлочные сапоги, наш странный алфавит, похожие на палочки руны, и язык, звуки которого вспахивают поле.

— Барри Колкер. Все время на меня пялился. Марлин говорит, он пишет для светской хроники. — Тонкие губы изогнулись неодобрительными запятыми. — Был с этой актрисой из «Парка кактусов», Джил Льюис.

Белые волосы струились под щеткой из свиной щетины, точно небеленый шелк.

— С этим толстым боровом! Представляешь?

Я знала, что она представить не может. Красота была для мамы законом, религией. Можно делать все, что пожелаешь, если делаешь красиво и сам красив. А иначе ты просто не существуешь. Она вбивала мне это в голову с младенчества. Правда, я уже заметила, что реальная жизнь не всегда соответствует ее представлениям.

— Может, он ей нравится…

— Значит, бедняжка выжила из ума! — отозвалась мама, забрала щетку и начала причесывать меня, больно стукая по голове. — Могла бы заполучить любого красавца. И о чем только думает?..

Она снова видела его в своем любимом богемном баре без вывески, в центре города. А потом на вечеринке в Силверлейк. Жаловалась, что куда бы ни шла, козлоногий тут как тут.

Я считала это совпадением, пока однажды вечером мы не отправились в Санта-Монику на выступление ее приятеля, который играл на бутылках из-под воды и что-то занудно пел про жару. Я заметила Барри через четыре ряда от нас. Он все время пытался привлечь ее внимание. Помахал мне, и я незаметно, чтобы не увидела мама, помахала в ответ.

Когда выступление закончилось, я хотела с ним поговорить, но она быстро потянула меня за руку и прошипела:

— Не поощряй его!

А когда Барри явился на журнальную вечеринку, пришлось признать, что он ее преследует. Веселились во дворе старого отеля на Сансет-стрип. Жара спадала. Женщины пришли в открытых платьях. Мама в белом шелке походила на мотылька. Я протиснулась сквозь толпу к столику с закусками и быстро набила сумочку тем, что не протухнет за несколько часов без холодильника: крабовыми клешнями, стрелками спаржи и печенью в беконе. Откуда ни возьмись появился Барри с тарелкой креветок. Увидел меня и тут же окинул взглядом толпу, ища маму. Она стояла сзади с бокалом белого вина и сплетничала с фоторедактором Майлзом, длинным англичанином со щетиной на подбородке и желтыми от сигарет пальцами. Она еще не заметила Барри. Он двинулся к ней сквозь толпу. Я шла по пятам.

— Ингрид! — с улыбкой произнес он, вторгаясь в их тесный кружок. — Я вас искал!

Она ледяным взглядом окинула его съехавший набок горчичный галстук, коричневую рубашку, лопающуюся на животе, кривые зубы и тарелку с креветками в мясистой руке. Я прямо-таки слышала завывание студеного шведского ветра, но Барри, видимо, оказался морозоустойчивым.

— Я о вас думал, — продолжил он, подходя еще ближе.

— Напрасно!

— Вы еще измените свое мнение.

Он коснулся пальцем носа, подмигнул мне и отошел к другой группе, где обнял и чмокнул в шею какую-то красотку. Мать отвернулась. Этот поцелуй был против всех ее правил. В ее вселенной такое просто не могло произойти.

— Вы знакомы с Барри? — поинтересовался Майлз.

— С каким Барри?

В ту ночь она не могла заснуть. Мы спустились в бассейн и плавали медленными тихими гребками под местными звездами: Крабовой Клешней и Гигантской Креветкой.

Мама нагнулась над чертежным столом и от руки, длинными элегантными ударами, резала гранки.

— Дзэн, — промолвила она. — Не колеблясь, безошибочно. Окно в благодать!

Она казалась по-настоящему счастливой. Такое бывало порой, когда работа спорилась: мама забывала, кто она, где, забывала обо всем, кроме безупречно ровных разрезов. Столь же чистое удовольствие, как от только что придуманной изящной фразы.

И вдруг я увидела то, чего не видела она: в комнату вошел козлоногий. Я не хотела портить благодать и потому продолжала сооружать китайское дерево из тангирных точек и неподошедших по размеру снимков из «Салам, Бомбей!». Когда я подняла голову, он поймал мой взгляд и прижал палец к губам, а потом подкрался к маме и постучал ее по плечу. Она полоснула ножом бумагу, резко обернулась, и я испугалась, что она сейчас его пырнет. Барри положил на стол маленький конверт.

— Для вас с дочерью.

Мама достала два бело-синих билета и, к моему совершенному изумлению, молча их оглядела. Посмотрела на Барри, вонзила нож-скальпель в прорезиненную поверхность стола, словно дротик, и через секунду его вытащила.

— Только концерт, — произнесла она. — Никакого ужина, никаких танцев.

— Идет!

Я видела, что он ей не верит. Плохо ее знает.

Это был концерт гамелана в Музее искусств. Стало ясно, почему она согласилась. Непонятно было только, как он узнал, на что ее подманить, как вычислил то единственное, от чего она ни за что не откажется. Подслушивал в олеандрах под нашими окнами? Выведывал у друзей? Подкупил кого-нибудь?

Мы ждали его во дворе музея. Ночной воздух потрескивал от жары. Наэлектризовалось буквально все. Когда я причесывала волосы, на кончиках вспыхивали искры.

Мамины руки нервно подергивались.

— Опаздывает. До чего жалок!.. Сразу надо было понять. Наверное, вместе с сородичами охотится в полях за самками. Никогда больше не буду ни о чем договариваться с

парнокопытными! Напомни мне, если что.

Она не стала переодеваться после работы, хотя времени хватало. Хотела подчеркнуть, что свидание не настоящее и ровно ничего не значит. Воздух благоухал летучим букетом дорогих духов. Со всех сторон на нее бросали неодобрительные взгляды женщины в пестрых летних шелках. А мужчины восхищались, улыбались, рассматривали и… смущенно отворачивались под горящим взглядом голубых глаз.

— Мужчины! — процедила она. — Даже самые неприглядные мнят себя кавалерами хоть куда.

С другого конца площади к нам приближался Барри. Тучное тело подпрыгивало на коротеньких ногах. Расплылся в улыбке, сверкая щелью между зубами.

— Извините, жуткие пробки!

При этих словах мама отвернулась. Она всегда учила, что извиняются только слабаки. Никогда не извиняйся и не объясняй!

Двадцать низких худых мужчин индонезийского оркестра сидели на коленях перед причудливыми ксилофонами, гонгами и барабанами. Заиграл барабан, присоединились низкие колокольчики. Вступали остальные инструменты. Звук нарастал, сложные ритмы переплетались, точно лианы. Мама говорила, что гамелан переводит мозг на более тонкую волну, чем все тета, альфа и бета, привычные каналы мышления отключаются, и в незадействованных участках мозга формируются дополнительные. Словно параллельные кровеносные сосуды в поврежденном сердце.

Я закрыла глаза и смотрела, как на темном экране век танцуют крошечные птицы из драгоценных камней. Они уносили меня с собой, говорили на языке, в котором не было слов для странных матерей с бледно-голубыми глазами, квартир с уродливыми блестками у входа и опавшими листьями в бассейне.

Концерт окончился. Зрители встали с плюшевых сидений и повалили к выходу, а мама по-прежнему сидела с закрытыми глазами. Ей нравилось уходить последней. Она терпеть не могла толпы и презирала комментарии по поводу концерта или, того хуже, очереди в туалет. Они перебивали ей настрой. Она все еще пребывала в другом мире и намеревалась задержаться там как можно дольше, летая мыслью по новым переплетающимся туннелям похожего на коралл мозга.

— Закончилось, — произнес Барри.

Мама подняла руку, призывая к молчанию. Он посмотрел на меня. Я пожала плечами — давно привыкла. Мы сидели, пока в зале не стих последний шум. Наконец она открыла глаза.

— Ну как, пойдем перекусим? — спросил он.

— Я никогда не перекусываю, — заявила она.

Хотелось есть, но если мама что-то решала, то не отступалась. Мы пошли домой, и я поужинала рыбными консервами, а она тем временем написала в ритмах гамелана стихотворение о куклах театра теней и богах удачи.

Глава 2

Летом того года, когда мне исполнилось двенадцать, я часто бродила неподалеку от маминого журнала. Район был застроен в двадцатые годы и именовался Перекрестком мира. В центре высилось здание в виде океанского лайнера в стиле позднего ар-деко. Сейчас его занимало рекламное агентство. Я сидела на каменной скамье и представляла у желтых металлических поручней Фреда Астера в синем кителе и фуражке.

Вокруг мощеной площади расположились причудливые двухэтажные строения самых разных стилей: от сказок братьев Гримм до Дон Кихота. Их снимали фотостудии, кастинговые агентства и наборные цеха. Я рисовала веселую Кармен под вазой с красной геранью, лениво прислонившуюся к резной двери модельного агентства, и скромную Гретель с ленточками в волосах, которая подметала германские ступени фотостудии.

Я смотрела, как из агенства в студию и обратно снуют высокие красавицы в брюках-клеш и полупрозрачных летних платьях. Кое-как перебиваясь временными заработками, они оставляли здесь кровью и потом добытые деньги в надежде на лучшее будущее. Мать говорила, что ловить тут нечего — агентства морочат им голову. Мне хотелось предостеречь девушек, но их красота делала это излишним. Какая беда может приключиться с длинноногими ясноглазыми красотками с точеными лицами? Их даже жара не касалась, точно они жили в другом климате.

Однажды часов в одиннадцать мама неожиданно появилась на кафельных ступеньках «Современного кино», и я закрыла альбом для рисования, думая, что она решила пообедать пораньше. Однако вместо того, чтобы идти к машине, мы свернули за угол, где к старому «Линкольну» с открывающимися наоборот дверцами прислонился Барри Колкер в ярком клетчатом пиджаке.

Бегло окинув его взглядом, мама зажмурилась.

— В этом уродливом наряде на тебя вообще невозможно смотреть! Снял с какого-нибудь покойника?

Барри ухмыльнулся.

— Это же скачки! Нужно что-то броское. Традиция.

— Ты как диван в доме престарелых, — заявила она, садясь в машину. — Слава богу, никто из знакомых меня с тобой не увидит.

Я была в шоке: свидание! Я-то не сомневалась, что все ограничится концертом. И вот Барри открывает передо мной заднюю дверцу.

Я никогда не была на скачках. Мама не отвела бы меня в такое место: к лошадям, под открытым небом, где никто не читает книги и не размышляет о Красоте и Роке.

— При обычных обстоятельствах я бы не согласилась, — пояснила она, устраиваясь на переднем сиденье и пристегиваясь. — Но идея улизнуть на часок так соблазнительна, что нету сил.

— Тебе понравится. — Барри втиснулся за руль. — Грех в такую погоду пахать на журнальных галерах!

— Это всегда грех, — отозвалась она.

Мы двинулись по автостраде в сторону Кахуэнги, на север, прочь из Голливуда, в долину Сан-Фернандо, а потом на восток в сторону Пасадены. Жаркое марево накрывало город, точно крышкой.

Ипподром Санта-Анита расположился у отвесных синих склонов хребта Сан-Гейбриел. От ярких клумб и безупречных газонов в задымленный воздух поднималась жирная цветочно-травяная струя. Мама шагала немного впереди, притворяясь, что они с Барри не знакомы, но потом сообразила, что так одеты абсолютно все — тут и там мелькали белые туфли и зеленый полиэстер.

Лошади блестели, точно хорошо смазанные металлические механизмы на стальных пружинах. Жокеи в сверкающих на солнце атласных рубашках проводили вдоль трибун пары скакунов: молодые лошади рядом с более опытными и спокойными. Разгоряченные животные нервно шарахались от детей за заграждением и пугались флагов.

— Выбери лошадь, — предложил Барри.

Мама выбрала белую кобылу под номером семь, из-за имени — Гордость Медеи.

Жокеи с трудом водворили скакунов в кабины, и когда стартовые ворота открылись, лошади дружно рванули вперед по грунтовой дорожке.

— Семерка, давай! — кричали мы. — Принеси удачу!

Она пришла первой. Мама смеялась, обнимала меня и Барри. Я впервые видела ее такой взволнованной, веселой и помолодевшей. Барри поставил от ее имени двадцать долларов и теперь протянул ей выигрыш — сотню.

— Поужинаем? — спросил он.

Да, взмолилась я про себя, пожалуйста, скажи да! Как можно теперь ему отказать?

В местном ресторанчике мы с Барри заказали салаты и слабо прожаренный бифштекс с печеной картошкой и сметаной. Мама ограничилась бокалом белого вина. Ингрид Магнуссен в своем репертуаре. Она выдумывала правила — и неожиданно они оказывались начертаны на Розеттском камне, поднимались со дна Мертвого моря или смотрели на вас со свитков династии Тан.

За ужином Барри рассказывал о своих путешествиях на Восток, где мы никогда не были. О том, как он выбрал в меню прибрежной забегаловки на Бали галлюциногенные грибы и потом бродил по лазурному берегу, думая, что попал в рай. О поездке в храмовый комплекс Ангкор-Ват в джунглях Камбоджи в компании тайских контрабандистов. О неделе в плавучих борделях Бангкока. Очаровывая маму, он совершенно забыл о моем существовании. Его голос благоухал гвоздикой, звенел соловьиными трелями, переносил на рынки специй Целебеса, увлекал на плавучем дому в открытое море. Мы повиновались ему, точно кобры — движениям тростниковой флейты.

Садясь в машину, она позволила обнять себя за талию.

Барри пригласил нас на ужин, обещал приготовить индонезийские блюда. Когда уже почти стемнело, я неожиданно сказалась больной — страстно желала, чтобы у них с Барри все получилось. Думала, что, быть может, он и есть тот самый мужчина, который нас накормит, согреет и сделает настоящей семьей.

Мама битый час выбирала наряд: белые индийские брюки с туникой, голубое кисейное платье с низким вырезом, платье с ананасами, гавайское платье. Я впервые видела ее такой нерешительной.

— Голубое, — посоветовала я.

Оно точно подходило под цвет глаз и делало ее совершенно неотразимой.

Мама выбрала индийскую пару, скрывавшую каждый сантиметр ее золотистой кожи.

— Я не задержусь, — добавила она в дверях.

Я лежала на ее кровати и представляла их вместе: сумерки и дуэт низких голосов за рийстафелем. Я не пробовала его с семи лет, с тех пор, как мы уехали из Амстердама. Его запах вечно витал в нашем районе, и мама обещала, что мы обязательно съездим на Бали. Я воображала, как мы просыпаемся под звон колокольчиков и блеяние коз в доме с островерхой крышей с видом на террасы рисовых полей и сказочно прозрачное море.

Немного погодя я сделала бутерброд с сыром и маринованными огурцами и отправилась к Майклу. Тот сидел над полупустой бутылкой экологически чистого красного вина — «нищенская роскошь», как он его называл из-за пробки — и заливался слезами, глядя картину с Ланой Тернер. Мне Лана Тернер не нравилась, и смотреть на умирающие помидоры тоже не было сил, поэтому я взялась за Чехова, а когда Майкл отключился, спустилась вниз в теплый, точно слезы, бассейн. Легла на спину и смотрела на звезды, Козла и Лебедь, в надежде, что мама влюбилась.

За все выходные она ни слова не сказала о свидании, только писала стихи, сминала их и бросала в корзину.

Кит выверяла текст, глядя маме через плечо, а я за столом в углу делала коллаж на чеховские темы, вырезая из ненужных фотографий даму с собачкой. Зазвонил телефон. Марлин ответила и прикрыла трубку рукой:

— Барри Колкер.

Голова Кит дернулась при звуке этого имени, словно марионетка в руках неуклюжего кукловода.

— Я отвечу у себя в кабинете.

— Он спрашивает Ингрид.

— Скажи, что я уволилась, — отозвалась мама, не поднимая глаз от работы.

Марлин елейным голосом передала это Барри.

— Откуда ты его знаешь? — Черные глаза редакторши от удивления стали размером с маслину.

— Случайный знакомый.

В те долгие летние сумерки соседи высыпали на улицу гулять с собаками, пили фруктовые коктейли у бассейна, болтали ногами в воде. В прозрачной голубизне низко висела луна. Мама сидела на полу за столиком, а легкий ветерок играл китайскими колокольчиками, которые мы повесили на старом эвкалипте. Я лежала на ее кровати и мечтала, чтобы время остановилось: колокольчики, плеск воды, бряцанье собачьих поводков, смех у бассейна, скрип маминого чернильного пера, запах эвкалипта, безмятежность. Если бы я только могла спрятать все это в медальон и повесить на шею! Если бы нас сейчас, сию секунду, сковало тысячелетним сном, как в замке Спящей красавицы!

Гармонию нарушил стук в дверь. К нам никогда никто не приходил. Мать отложила перо и схватила из стакана с карандашами складной нож. Его темным угольным лезвием можно было запросто побрить кошку. Она раскрыла его о бедро и прижала палец к губам. Запахнула белое кимоно, наброшенное на голое тело.

— Ингрид, это я!

Барри.

— Как он смеет являться без приглашения! — прошипела мама и рывком распахнула дверь.

Барри в мятой гавайской рубахе держал бутылку вина и пакет с чем-то восхитительным.

— Привет! Оказался в ваших краях и решил заглянуть на огонек.
Она все еще стояла в дверях с ножом у бедра.
— Вот как…
И тут произошло немыслимое — она пригласила его войти и закрыла нож.
Барри оглядел нашу большую, элегантно пустую комнату.
— Недавно переехали?
Мама не ответила. Мы жили здесь уже больше года.

Когда я проснулась, горячее солнце лило свет сквозь оконную сетку, подсвечивая молочный неподвижный воздух. Из ванной доносилось мужское пение и поскрипывание труб. Барри ночевал! Мама нарушила собственные правила. Значит, они все-таки не выбиты на камне, а написаны на тонких бумажных журавликах. Она одевалась на работу, а я вопросительно смотрела на нее и ждала объяснений. Она только улыбнулась.

После той ночи все перевернулось с ног на голову. В воскресенье мы вместе отправились на голливудский фермерский рынок, где они с Барри купили шпинат, стручковую фасоль, помидоры, малюсенький виноград размером с канцелярскую кнопку и связки шуршащего, точно бумага, чеснока, а я шла следом, немая от изумления. Мама разглядывала овощи, точно книги в книжной лавке. Моя мама, для которой обед равнялся упаковке йогурта или банке сардин с крекерами! Которая могла несколько недель просидеть на арахисовом масле и не заметить! Она прошла мимо своих любимых белых лилий и хризантем и купила охапку гигантских красных маков с черной сердцевиной. По дороге домой они с Барри держались за руки и низкими проникновенными голосами распевали хиты шестидесятых: «Неси любовь, как рай» и «Закат в Ватерлоо».

Творилось что-то невероятное! Она писала крохотные хокку и подсовывала ему в карман. А я при любой возможности выуживала их и читала, заливаясь краской:

Мак уронил
лепесток пресыщенья.
Бранное поле любви.

Однажды утром на работе она показала мне в дешевом еженедельнике «Мать Калигулы» снимок с вечеринки после театральной премьеры: они с Барри вдрызг пьяные. Журнал объявлял маму его новой пассией. Мама, которая всей душой ненавидела, когда женщину определяли через взаимоотношения с мужчиной, теперь радовалась, словно выиграла конкурс.

Страсть… Я никогда не думала, что она на нее способна. Мама не узнавала себя в зеркале: темные от вожделения глаза, вечно спутанные волосы, пахнущие мускусным запахом козлоногого.

Они ходили гулять, а потом она со смехом рассказывала:

— Женщины кричат ему павлиньими голосами: «Где ты пропадаешь, Барри?!» Но это все не важно. Сейчас он со мной, и ему больше никто не нужен!

Страсть ее поработила. Исчезли насмешки над козлоногостью, кривыми зубами, брюшком, дурным вкусом, бесстыжими шаблонными фразами, убогим словарным запасом и

преступной банальностью статей. Я и представить не могла, что мама станет обниматься на площадке перед квартирой с толстым мужиком в коричневой рубахе, который пишет «посчитал нужным»! Или что позволит гладить себе ногу под столом в китайском ресторане! Она закрывала глаза, и волны желания, словно аромат духов, плыли над чашками.

По утрам, когда я шла через ее комнату в туалет, они лежали на большом белом матрасе и разговаривали со мной как ни в чем не бывало. Ее голова покоилась у него на плече, а комната благоухала запахом любовной битвы. Хотелось рассмеяться. На Перекрестке мира я устраивалась под перечным деревом, выводила в альбоме «мистер и миссис Барри Колкер» и репетировала фразу «можно я буду звать тебя папой?».

Я никогда не говорила матери, что хочу иметь отца. Спросила о нем только однажды, еще в детском саду. Это был год, когда мы вернулись в Штаты и осели в Голливуде. Жарким дымным днем мать в плохом настроении поздно забрала меня из сада, и мы поехали на рынок на ее стареньком «Датсуне». До сих пор помню горячую рельефную обивку сидений и щель в днище, сквозь которую просвечивал асфальт.

Год только начался, и молодая воспитательница, миссис Уильямс, попросила рассказать про пап. Папы жили в Сиэтле, Панорама-Сити и Сан-Сальвадоре. Кое-кто даже умер. Работали юристами, барабанщиками и механиками.

— А где мой папа?

Мама раздраженно перевела рычаг скорости, и меня бросило вперед.

— У тебя его нет.

— Папы есть у всех!

— От них никакого толку. Тебе повезло, уж мне поверь. У меня был отец, я знаю, о чем говорю. Выкинь из головы!

И включила радио, оглушительный рок-н-ролл.

С тем же успехом можно сказать слепому ребенку: «Зрение ни к чему, не видишь — ну и слава богу!»

Я стала высматривать отцов в магазинах и на игровых площадках. Мне нравилась их уверенность. Они казались причалом, накрепко соединенным с твердой землей. С ними было спокойно, не то что в нашей плавучей жизни. Я молилась, чтобы Барри Колкер стал таким отцом.

Их любовное воркование превратилось в мою колыбельную, мой сундук с приданым. Я складывала туда мечты о постельном белье, летнем лагере, новых туфлях, Рождестве. Копила семейные ужины за столом, собственную комнату, велосипед и родительские собрания в школе. Одинаковые годы, сменяющие друг друга, точно мост в будущее, и еще тысячи неуловимых безымянных вещей, понятных девочкам, растущим без отца.

На День независимости Барри повез нас на стадион «Доджер» и купил бейсболки с логотипом команды. Они пили пиво из бумажных стаканчиков, и Барри объяснял правила игры, точно возвышенную философию, ключ к пониманию американского характера. Он бросил деньги продавцу арахиса и поймал кулек. Мы сорили шелухой, и я с трудом узнавала нас в синих кепках с козырьком. Настоящая семья! Я так себе и представляла: мама, папа и дочка. Мы вместе с другими запускали волну. Они целовались весь седьмой иннинг, а я подрисовывала орехам лица. Когда начался салют, у всех машин на парковке завыла сигнализация.

В другой раз поехали на Каталину. На пароме у меня началась морская болезнь, и Барри прижимал мне ко лбу мокрый носовой платок и приносил мятные леденцы. Мне ужасно

нравились его карие глаза, его волнение, точно он впервые видел, чтобы ребенка тошнило. На острове я старалась им не мешать, надеясь, что он сделает ей предложение, пока они гуляют среди яхт и угощаются креветками из бумажного кулька.

А потом что-то произошло. Помню только, что начались ветра. Лапы пальм постукивали друг о друга, словно кости. Барри обещал прийти в десять, но пробило одиннадцать, а его все не было. Чтобы успокоить нервы, мама крутила записи перуанской флейты, ирландской арфы, болгарского хора. Не помогало. Убаюкивающая монотонность не гармонировала с ее настроением. Ее движения были тревожными и незаконченными.

— Поплаваем, — предложила я.

— Не могу. Вдруг он позвонит.

В конце концов она поставила кассету Барри, лиричный джаз Чета Бейкера — как раз то, что терпеть не могла.

— Музычка для баров. Чтобы посетители роняли слезы в стакан с пивом, — пояснила она. — Вот только пива нет.

Он уезжал из города в командировки по заданиям других журналов, отменял свидания. Мама не спала, подскакивала при каждом телефонном звонке. Это снова оказывался не Барри, и на нее больно было смотреть. В ее голосе появились неведомые доселе интонации, острые, точно зубцы пилы.

Происходящее не укладывалось в голове. Как — после бейсбола, Каталины, холодного платка на лбу и обещаний свозить на Бали — он мог забыть к нам дорогу?!

Однажды мы без приглашения остановились возле его дома.

— Он взбесится, — предупредила я.

— Мы просто проезжали мимо и решили заглянуть на огонек.

Спорить было бесполезно — все равно что жарким и дымным августовским утром останавливать восход солнца. Однако присутствовать при этой сцене совсем не хотелось, и я решила подождать в машине. Мама постучала в дверь. Барри вышел на порог в легком халате из полосатой жатки. Даже отсюда я сразу поняла, что она говорит. Горячий ветер играл подолом ее голубого кисейного платья, солнце за спиной делало его совсем прозрачным. Барри стоял в дверях, загораживая вход. Мама придвинулась вплотную, наклонила голову, поправила волосы. В мозгу у меня натягивалась и вот-вот грозила лопнуть резинка. Они исчезли в доме.

Я включила радиостанцию классической музыки. Слушать песни со словами не было сил. Я представляла собственные бледно-голубые глаза, которые смотрят на мужчину и велят ему убираться, потому что я занята. «Ты не в моем вкусе», — холодно произнесла я, глядя на свое отражение в зеркале заднего вида.

Полчаса спустя мама снова появилась и нетвердыми шагами прошла к машине, споткнувшись о газонный ороситель, точно слепая. Села за руль и принялась раскачиваться, беззвучно раскрыв рот. Мама плакала — совсем уже фантастика!

— У него свидание, — сдавленно прошептала она. — Он переспал со мной, а потом велел уходить, потому что у него свидание.

Я знала, что мы приехали зря, жалела, что мама нарушила собственные правила, и понимала, почему она раньше так ревностно их придерживалась: стоит пренебречь одним, как рушатся все, одно за другим, взрываются у тебя перед носом, словно петарды на парковке

в День независимости.

Я со страхом думала, как она — с безумными невидящими глазами — поведет машину. Мы разобьемся, не проехав и трех кварталов. Но она не завела мотор. Обхватила себя руками и раскачивалась, глядя в лобовое стекло.

Через несколько минут у дома остановилось спортивное авто последней модели с опущенным верхом. Молодая блондинка в мини-юбке достала сумочку с заднего сиденья.

— Ты красивее, — сказала я.

— А она проще, — горько прошептала мама.

Кит оперлась о стол. Пурпурные губы скривились, обнажая окровавленный волчий оскал.

— Угадай, кого я видела вчера в «Верджинс», Ингрид! — Тихий высокий голос сочился ядом, ноздри подергивались. — Нашего старого приятеля Барри Колкера! — Она театрально вздохнула, подавляя усмешку. — С белобрысой дешевкой вдвое его младше. Какая у мужчин короткая память, а?

В обеденный перерыв мама велела взять все, что хочу, из рисовальных принадлежностей. Мы уходим и не вернемся.

Глава 3

— Вот возьму и побреюсь наголо, — произнесла она. — И вымажу лицо сажей.

Ее глаза были обведены странными кругами, будто подбиты, волосы висели сальными прядями. Она либо лежала на кровати, либо смотрелась в зеркало.

— Как можно лить слезы по мужчине, который недостоин меня коснуться?

Она не вернулась на работу. Из квартиры выходила разве что в бассейн, где часами смотрела на отражения в мерцающей голубизне или бесшумно плавала под водой, точно рыба в аквариуме. Начался учебный год, но я не могла бросить ее одну в таком состоянии. Вдруг приду из школы — а она исчезла… Так что мы сидели в квартире и питались консервами, а когда те закончились, перешли на рис и овсянку.

— Что мне делать? — спросила я Майкла, который угощал меня за обшарпанным столиком сыром с сардинами.

В новостях показывали пожары на Анджелес-Крест.

Майкл перевел взгляд с меня на пожарных, шагавших по дымным склонам.

— Когда влюбляешься, детка, такое случается. Это как стихийное бедствие.

Я поклялась никогда не влюбляться и надеялась, что Барри за зло, причиненное маме, умрет долгой и мучительной смертью.

Над городом взошла луна, кровавая от пожаров на севере и в Малибу. Как обычно в это время года, мы оказались в огненном кольце. В бассейн летел пепел. Мы сидели на крыше, вдыхая ветер с запахом гари.

— Истерзанное сердце, — промолвила мама, потянув кимоно. — Надо вырвать его и бросить в компост.

Хотелось ее коснуться, но она словно сидела в звуконепроницаемой кабине, как на конкурсе красоты. Ей не было слышно меня сквозь стекло.

Она согнулась, прижав руки к груди и выдавливая из себя воздух.

— Я сжимаю сердце внутри, — пояснила мама, — как земля в горячей глубине сдавливает своим весом кусок доисторического помета. Ненавижу его! Ненавижу! Я его ненавижу. — И добавила свирепым шепотом: — В моем теле рождается алмаз. Уже не сердце, а твердый, холодный и прозрачный камень. Я защищаю его своим телом, лелею в груди.

На следующее утро она встала, приняла душ и сходила на рынок. Я понадеялась, что теперь дела пойдут лучше. Она позвонила Марлин и спросила, можно ли вернуться. Номер как раз сдавали в печать, и в ней нуждались позарез. Как ни в чем не бывало мама отвезла меня в школу, где в моем восьмом классе уже начались занятия. И я подумала, что все позади.

А зря… Она преследовала Барри, как раньше он — ее. Ходила всюду, где был шанс его встретить, выслеживала, чтобы, глядя на него, оттачивать свою ярость.

— Ненависть дает мне силы.

Повела Марлин на обед в его любимый ресторан, застала его там в баре и улыбнулась. Он сделал вид, что не заметил, но все время потирал подбородок.

— Искал след старого прыща, — пояснила она вечером. — Как будто мой взгляд вызвал его к жизни.

Мы закупали провизию на рынке, делая крюк, чтобы столкнуться с ним у прилавка с

мускусными дынями, бродили по его любимому музыкальному магазину, ходили на презентации книг его друзей.

Однажды ночью мама вернулась домой в четвертом часу. Утром надо было в школу, но я смотрела по кабельному фильм про белого охотника со Стюартом Грейнджером. Майкл дрых на диване. Горячий ветер рвался в окна, точно взломщик. В конце концов я вернулась к себе и заснула на маминой постели. Приснилось, что иду сквозь джунгли с пучком на голове, а белого охотника и след простыл.

Мама присела на край постели и сбросила туфли.

— Я его нашла. На вечеринке у Грейси Келлехер. Столкнулись у бассейна. — Она легла рядом и прошептала мне на ухо: — Болтал с какой-то рыжей толстухой в прозрачной блузке. Заметил меня, вскочил и схватил за руку. — Она задрала рукав и показала яростные красные подтеки. — «Ты что, — шипит, — следишь за мной?!» Так бы и перерезала ему глотку! «Мне следить ни к чему. Я знаю все твои мысли, каждый шаг. Я вижу твое будущее, Барри, и оно печально». — «Я хочу, чтобы ты ушла». — «Не сомневаюсь». Даже в темноте было видно, как он побагровел. «Ничего у тебя не получится, Ингрид, предупреждаю! Ничего не выйдет!» — Мать рассмеялась, сплетя руки за головой. — Он не понимает — уже получается!

Суббота. Опаленное небо. Жаркий послеполуденный воздух пахнет гарью. В это время года даже на пляж не сходишь из-за ядовитого «красного прилива». Город повержен и на коленях молит об искуплении, как древний Содом.

Мы сидели в машине под рожковым деревом, в квартале от дома Барри. Мне ужасно не нравился мамин взгляд. Ее спокойствие граничило с безумием. Она походила на терпеливого ястреба на верхушке обожженного молнией дерева. Однако просить вернуться домой не имело смысла. Мы теперь говорили на разных языках. Я разломила стручок кэроба, вдохнула мускусный аромат и представила, что дожидаюсь здесь своего отца-водопроводчика, который чинит что-то в этом маленьком кирпичном доме с одуванчиками на газоне и лампой в окне с металлическим переплетом.

Вышел Барри в бермудах, гавайской футболке и старомодных очочках под Джона Леннона. Сел в старенький золотистый «Линкольн» и уехал.

— Пойдем, — прошептала мать.

Она надела белые тканевые перчатки, которыми пользуются фоторедакторы, и бросила мне вторую пару. Идти с ней не хотелось, но и в машине оставаться желания не было.

Мы шагали по дорожке уверенно, точно к себе домой. Мама сунула руку в декоративный балийский домик на крыльце и вытащила ключ. Я снова ощутила печаль и приближение неизбежности. Когда-то я думала, что буду жить здесь среди больших кукол театра теней, подушек с батиком и воздушных змеев-драконов на потолке. Прежде статуэтки Шивы и Парвати в их нескончаемом объятии меня не раздражали; я представляла, что Барри с мамой станут так же неразлучны, и это будет длиться вечно и породит новую вселенную. Теперь я их ненавидела.

Заурчал компьютер на резном столе. Мама что-то напечатала, и на экране все исчезло. Я понимала, зачем она это делает.

В тот момент я осознала, почему люди пачкают аккуратные стены, царапают новые машины и колотят ухоженных детей — естественно уничтожать то, что сам никогда не получишь. Она вынула из сумочки магнитную подкову и провела ею по дискетам с надписью

«резервная копия».

— Мне его почти жалко, — заметила она, выключая компьютер. — Почти.

Она достала свой нож-скальпель и выбрала из шкафа его любимую коричневую рубаху.

— Цвет экскрементов. Как ему подходит!

Кинула ее на кровать и изрезала в клочья, а потом воткнула в петлицу белый олеандр.

Кто-то колотил в дверь. Мама подняла голову от нового стихотворения. Она теперь все время писала.

— Как думаешь, на том жестком диске было что-то ценное? Например, эссе, которые надо сдать осенью?

Я со страхом смотрела, как прыгает на петлях дверь, и вспоминала синяки у нее на руках. Барри не был жестоким, но у всякого терпения есть предел. Если он ворвется, ей конец.

А мама ничуть не испугалась. Собственно, чем сильнее он барабанил, тем веселее она становилась — щеки порозовели, глаза сияли. Все-таки вернулся!.. Она взяла складной нож из стакана с карандашами и развернула его о бедро.

Барри вопил, рыдал. От бархатистости голоса не осталось и следа.

— Видит бог, Ингрид, я тебя убью!

Стук прекратился. Мама прислушивалась, держа наготове нож. Внезапно Барри возник с другой стороны, в окне. Перекошенное от ярости, страшное лицо в ветвях олеандров казалось огромным. Я отпрянула к стене, а мама так и стояла посреди комнаты, мерцая, как подпаленная сухая трава.

— Я убью тебя! — орал он.

— Беспомощен в гневе, — заметила она. — Бессилен, можно сказать.

Барри разбил стекло — видимо, нечаянно — и затих. Потом внезапно расхрабрился и просунул руку внутрь, чтобы нащупать шпингалет. Мама с немыслимой прытью подбежала к окну и ударила ножом в ладонь. Лезвие засело крепко. Она рывком выдернула его, и рука мгновенно исчезла.

— Чертова сука!

Мне хотелось спрятаться, остановить поток слез, но я не могла отвести глаз от этой сцены. Вот как заканчиваются любовь и страсть!

В соседнем доме зажглись огни.

— Соседи звонят в полицию, — сказала мать в окно. — Уходи!

Он, шатаясь, побрел прочь и через мгновение пнул входную дверь.

— Гребаная сучка! Я тебе устрою! Ты у меня попляшешь!

Она распахнула дверь и предстала перед ним в белом шелковом кимоно, с окровавленном ножом в руке.

— Ты меня еще не знаешь, — произнесла негромко.

С тех пор ей нигде не удавалось найти Барри — ни в «Верджинс», ни в магазинах, ни на вечеринках, ни в клубе. Он сменил замок. Пришлось открывать окно чертежной линейкой. На сей раз она сунула веточки олеандра в молоко, устричный соус, творог и даже зубную пасту. Поставила букет в стеклянную вазу ручной работы и разбросала цветы по постели.

Я была раздавлена. Хоть он и заслужил наказание, она перешла грань. Это не просто месть. Она ведь уже отомстила, победила — и, кажется, даже не заметила. Ее несло прочь от

всякого благоразумия, и следующая остановка ожидалась в кромешной тьме через миллионы световых лет. Как любовно она поправляла зеленые листья и белые бутоны…

К нам наведалась полиция. Инспектор Рамирес сообщил, что Барри обвиняет ее во взломе, незаконном проникновении в жилище и попытке отравления. Мама и бровью не повела.

— Барри страшно на меня зол, — заявила она в дверях, скрестив руки. — Я порвала с ним несколько недель назад, и он все никак не успокоится. С ума сходит. Рвался сюда. Астрид, моя дочь, подтвердит.

Я недовольно передернула плечами — незачем меня впутывать.

Мама размеренно продолжала:

— Соседи даже вызывали полицию, посмотрите сводки. А теперь он утверждает, что это я к нему вломилась? Бедняга, он не особенно привлекательный — наверное, трудно смириться…

Драгоценный камень ненависти сверкал все ярче. Сапфир цвета студеных озер Норвегии. О, инспектор Рамирес, говорили ее глаза, вы красивый мужчина, вам не понять отчаявшегося Барри Колкера!

Как она смеялась, когда он ушел!

В следующий раз мы увидели Барри на блошином рынке «Роуз-боул», где он имел обыкновение выбирать друзьям уродливые подарки-розыгрыши. Лицо матери освещал сквозь шляпу рассеянный свет. Барри заметил ее и тут же отвернулся — его страх бросался в глаза, как огромные буквы на рекламных щитах, — но затем передумал и нацепил на лицо улыбку.

— Меняет тактику, — прошептала она. — Сейчас подойдет.

Он двинулся прямо на нас с фигуркой «Оскара» из папье-маше в руках.

— Мои поздравления! Отличный спектакль с полицейским! — Барри протянул ей статуэтку. — Лучшей актрисе года!

— Понятия не имею, о чем ты.

Она спокойно улыбалась и больно сжимала мне руку.

— Еще как имеешь. — Он сунул «Оскара» под мышку. — Но я подошел не за этим, Ингрид. Может, пора зарыть топор войны? С полицией я погорячился, признаю. Да, я урод, но, господи боже, ты чуть не уничтожила весь мой годовой материал! К счастью, у моего агента есть черновики… Давай разойдемся мирно!

Мать улыбнулась, переступила с ноги на ногу. Ждала продолжения.

— Я уважаю тебя как человека и как творческую личность. Дураку ясно, что ты гениальный поэт. Я, между прочим, рекомендовал тебя кое-каким журналам. Давай перевернем страницу и останемся друзьями!

Она закусила губу, как будто серьезно обдумывая предложение, а сама так больно впилась ногтем мне в ладонь, что едва не проткнула ее насквозь. В конце концов произнесла грудным голосом:

— Конечно. Почему нет?

Они пожали друг другу руки. Барри с легким сомнением и в то же время с облегчением вернулся к покупкам. Я подумала, что он по-прежнему ее не знает.

Тем вечером мы снова подъехали к его дому. На окнах теперь стояли решетки. Мама погладила кончиками пальцев новую сетчатую дверь, словно меховую шубу.

— Чувствуешь его страх? Как шампанское: холодное, игристое и совсем несладкое.

Позвонила. Барри открыл внутреннюю дверь, окинул нас взглядом, неуверенно улыбнулся. Ветер шевелил ее шелковое платье и волосы лунного цвета. Она подняла руку с бутылкой рислинга.

— Выпьем за дружбу?

— Ингрид, я не могу вас впустить…

Она просунула в сетку палец и кокетливо заметила:

— Вот, значит, как мы обходимся с друзьями?

Ночью мы плавали в горячем аквамарине бассейна. На чистом небосклоне подмигивали звезды, в пальмах шелестел ветер. Мама легла на спину, негромко разговаривая сама с собой.

— Боже, до чего хорошо… — Она гребла одной рукой, медленно поворачиваясь по кругу. — Удивительно! Ненависть приносит намного больше наслаждения, чем какая-то там любовь. Любовь капризна, утомительна, требовательна, переменчива. Она тебя использует. — Ее глаза были закрыты, лицо блестело капельками воды, волосы расплылись вокруг головы, точно щупальцы медузы. — Ненависть — иное дело! Ненависть можно использовать, можно ею управлять, придавать ей форму. Она будет по твоему желанию твердой или пластичной. Любовь тебя унижает, ненависть — пестует. Такое успокоение… Мне гораздо легче.

— Я очень рада, мам.

Я и правда радовалась, что она повеселела, только мне не нравилось это веселье, я ему не верила, подозревала, что рано или поздно оно даст трещину и наружу вырвутся чудовища.

Мы поехали на машине в Тихуану. Не остановились купить пиньяту, цветы из гофрированной бумаги, сережки или кошельки. Глядя на клочок бумаги, мама кружила по переулкам мимо ослов, выкрашенных под зебру, и низеньких индейских женщин с детьми, которые просили милостыню. Я отдала им всю мелочь и получила в подарок одеревеневшую от старости жвачку. Мама не обращала на меня никакого внимания. Потом нашла то, что искала, — ярко-освещенную, как в Лос-Анджелесе, аптеку с провизором в белом халате.

— *Por favor, tiene usted DMSO?*[1]

— У вас артрит? — отозвался он на уверенном английском.

— Да. Именно. Один знакомый сказал, что у вас продается.

— Сколько вам? — Он вытащил три тары: размером с пузырек ванили, жидкость для снятия лака и бутылку уксуса.

Она выбрала самую большую.

— По чем?

— Восемьдесят долларов, мисс.

— Восемьдесят…

Мама задумалась. Восемьдесят долларов — продукты на две недели или бензин на два месяца. Что это за дорогущая штука такая, ради которой нужно ехать в Тихуану?

— Не надо! — взмолилась я. — Поедем куда глаза глядят! В Ла-Пас!

По взгляду мамы я поняла, что застала ее врасплох, и продолжала говорить, надеясь что, быть может, смогу вернуть нас на какую-нибудь известную мне планету.

— Сядем утром на первый паром! Пожалуйста! Поедем в Халиско, Сан-Мигель-де-Альенде. Закроем счета, переведем все на карту — и мы свободны!

До чего просто. Она знает все заправки отсюда до Панамы, дешевые величественные отели в центре городов, с высокими потолками и деревянным резным изголовьем кроватей. Через какие-то три дня между нами и этой предвещающей катастрофу бутылкой проляжет тысяча миль.

— Тебе же всегда там нравилось! Ты не хотела возвращаться в Штаты!

На мгновение мне удалось ее увлечь. Она вспоминала проведенные там годы, любовников, цвет моря. Однако чары оказались недостаточно сильными, я не умела завораживать словами, как она, не хватало таланта, и образ растаял, возвращая ее к одержимости: Барри и блондинка, Барри и рыжая, Барри в полосатом халате.

— Поздно, — проговорила она, вытащила бумажник и отсчитала четыре двадцатки.

Ночью мама варила в кухне что-то неописуемо странное: бросала в кипящую воду олеандры, корешки ползучего растения с яркими, похожими на граммофонную трубу цветами; замачивала собранные под луной на соседской изгороди мелкие цветы в форме сердечка, уваривала настой. Из кухни валил запах зелени и гнили. Она выбросила килограммы мокрой, похожей на шпинат массы в чужой мусорный бак. Она больше ничего мне не объясняла — сидела на крыше и разговаривала с луной.

— Что такое ДМСО? — спросила я Майкла вечером, когда она ушла.

Он пил виски, настоящий «Джонни Уокер», празднуя новую роль в «Макбете» в Центре искусств. Произносить название пьесы вслух не полагалось — плохая примета, с учетом всей описанной в ней нечисти; нужно говорить «шотландская пьеса». Майкл рисковать не собирался — вот уже целый год у него, кроме начитки книг, никакой работы не было.

— Помогает при артрите.

Я полистала глянцевый журнал и небрежно осведомилась:

— Что-то ядовитое?

— Абсолютно безобидное.

Он поднял стакан, посмотрел на янтарную жидкость и медленно пригубил, с наслаждением закрыв глаза.

Хорошие новости застали меня врасплох.

— А для чего оно?

— Ускоряет всасывание лекарств через кожу. Так действуют никотиновые и прочие пластыри. Приклеиваешь — и благодаря ДМСО вещество попадает через кожу прямо в кровь. Классная штука. Помню, давным-давно народ боялся, что хиппи начнут обмазывать смесью ДМСО и ЛСД дверные ручки в общественных местах. — Он засмеялся, поднес стакан к губам. — Стали бы они тратить кислоту на добропорядочных придурков!

Я нигде не могла найти бутылку. Проверила под раковиной на кухне и в ванной, посмотрела в ящиках… В нашей квартире прятать было особенно негде, да и вообще, не в мамином это характере. Я не ложилась спать, ждала ее. Она вернулась поздно с красивым молодым человеком, черные кудри которого спускались до середины спины. Они держались за руки.

— Это Иисус, — представила она. — Поэт. А это моя дочь, Астрид.

— Привет, — сказала я. — Мам, можно тебя на секундочку?

— Тебе пора спать… Сейчас вернусь. — Она улыбнулась Иисусу, выпустила его руку и

прошла со мной на затянутую сеткой веранду.

Мама снова стала красавицей, круги под глазами исчезли, волосы струились водопадом.

Я легла. Она прикрыла меня простыней, погладила по щеке.

— Мам, куда делась та бутылка из Мексики?

Она продолжала улыбаться, но ее глаза сказали все.

— Не делай этого! — взмолилась я.

Она поцеловала меня, погладила холодной рукой по голове и ушла. Ее рука всегда оставалась прохладной, несмотря на жару, горячие ветра и пожары.

На следующий день я набрала номер Барри.

— «Туннель любви…» — донесся пьяный женский голос и хихиканье.

Вдалеке послышался бархатный голос Барри. Он взял трубку.

— Алло!

Я хотела его предупредить, но теперь все забылось, перед глазами стояло только мамино лицо, когда она вышла от него в тот день. Как она раскачивалась, как раскрывала рот… Да и что я могла ему сказать? «Осторожнее, ничего не трогай, ничего не ешь»? Он уже и так ее опасался. Если я скажу, ее могут арестовать. Нет, я не причиню боль моей маме ради какого-то Барри Колкера и его трахающихся статуэток. Заслужил! Раньше надо было думать!

— Алло! — повторил он.

Женщина что-то сказала и идиотски засмеялась.

— Ну и пошли вы в жопу! — произнес он и повесил трубку.

Больше я не звонила.

Мы сидели на крыше и смотрели на луну, красную и огромную в пахнущем гарью воздухе. Она висела над городом, точно над доской для спиритических сеансов. Вокруг греческим хором выли сирены, а мать безумным низким голосом шептала:

— Ничего они нам не сделают! Мы викинги, мы идем на битву безоружные, ради куража и крови.

Наклонилась и поцеловала меня в голову. От нее пахло металлом и дымом.

Горячий ветер все не стихал.

Глава 4

Настало время, которое я почти не могу описать, — жизнь под землей. Под решеткой, во влажной темноте канализационного коллектора, била крыльями птица. Наверху грохотал город. Имя ей было Потерянная. Имя ей было Ничья Дочь.

Снилось, как мама идет по городу камней и руин, городу, где недавно была война. Она слепа, ее глаза пусты и белы, точно камни. Вокруг пожары, высокие дома с треугольниками над замурованными окнами. Слепые окна и ее невидящие глаза, и все же она идет ко мне, неумолимая и безумная. Ее лицо утратило форму и стало ужасающе пластичным. Над скулами, под глазами образовались вмятины, словно кто-то продавил податливую глину большими пальцами.

Каким тяжелым в те дни было низкое свинцовое небо, какими тяжелыми были мои крылья, мой испуганный полет под землей! Лица, губы, ждущие моего признания… Они меня утомляли, я засыпала. «Расскажи, что произошло». Что я могла ответить? Стоило мне открыть рот, оттуда выпадали камни, белые глаза моей бедной матери. Глаза, в которых я искала спасения. Снилось бегущее по улицам молоко, белое молоко и стакан. Молоко капало в коллектор, точно слезы. Я прижимала к лицу ее кимоно, вдыхала запах фиалок и гари, теребила шелк.

Там, под землей, обитало много детей, младенцев, подростков, и в комнатах гулко отдавалось эхо, словно в метро. Оглушительная, кошмарная музыка, крики, плач, бесконечный телевизор. Удушливый чад с кухни, тошнотворный запах мочи и хвойного чистящего средства. Женщина, которая всем этим заправляла, через равные промежутки времени вытаскивала меня из постели и усаживала вместе с другими за стол перед тарелкой мяса, фасоли и зелени. Я покорно ела и возвращалась в кокон кровати и сна, на шуршащую клеенчатую простыню. Часто просыпалась мокрая по самую грудь.

У девочки на соседней кровати случались припадки. Нянечка говорила: «За детей с отклонениями, как вы, больше платят».

Стены комнаты украшали коричневатые рисованные розы. Я их считала. Сорок в диагональных рядах, девяносто две — в горизонтальных. Изображения Христа, Джона Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга над комодом. Христос в стороне, а другие повернуты влево, в профиль, как лошади на старте. Управляющая, миссис Кэмпбелл, худая и сморщенная, как изюмина, смахивала пыль желтой футболкой. Скакуны выровнялись у стартовых ворот, закусив удила. Она поставила на семерку, Гордость Медеи. В тот день мы все наступили на люк и провалились. Я снова и снова проводила поясом кимоно по губам, ощущая вкус утраты.

День ее ареста воскресал в снах, я, словно по туннелю, неизменно возвращалась в отправную точку. Стук в дверь. Раннее утро, еще темно. Снова стук. Голоса. Барабанят сильнее… Когда я прибежала к ней в комнату, копы, в форме и в штатском, уже ворвались. Управляющий домом маячил в дверях в шапочке для душа. Они вытащили мать из постели, прикрикивая, словно злобные псы. Она заорала на них по-немецки, обозвала фашистами, чернорубашечниками. *«Schutzstaffel. Durch Ihre Verordnung, mein Fьhrer»*[2]. Помню ее голое тело с красными следами от простыней на животе, мягкие покачивающиеся груди. Немыслимо, точно подделанная фотография: кто-то вырезал этих полицейских и наклеил в

нашу квартиру. Они пялились на ее лунную кожу, как на снимок в порнографическом журнале.

— Меня отпустят, Астрид. Не волнуйся, через час вернусь.

Так она сказала. Так она сказала…

Я сидела у Майкла, спала на диване, ждала, как ждут собаки, весь тот день и следующий. Прошла неделя, а ее все не было. Она так и не вернулась.

За мной пришли и дали на сборы пятнадцать минут. У нас никогда не было много вещей. Я взяла четыре ее книги, коробку с ее журналами, белое кимоно, карты Таро и складной нож.

— Не обижайся, — сказал Майкл. — Я бы с радостью тебя оставил, но ты же понимаешь, как оно…

Как оно… Как оно, когда земля разверзается под ногами и поглощает тебя, не оставляя и следа. Появляется бог на черной колеснице, хватает Персефону и увозит в подземное царство. Они мчатся вниз, в черноту, твердь смыкается, и Персефона исчезает, словно никогда и не существовала.

Так я попала под землю, в дом сна, клеенчатых простыней, плачущих младенцев и коричневых роз, сорок в вертикальном ряду, девяносто две — в горизонтальном. Всего три тысячи шестьсот восемьдесят коричневых роз.

Однажды мне дали увидеть маму сквозь стекло. На ней был оранжевый комбинезон, как на механиках, и с ней что-то было не так. Я сказала ей, что люблю ее, но затуманенные глаза меня не узнали. Потом я снова и снова видела эти незрячие глаза во сне.

Год шевелящихся губ. Они задавали один и тот же вопрос, уговаривали: «Что произошло? Скажи то, что нам нужно!» Я хотела ей помочь и не знала, как. Я не находила слов, их не было. В зал суда ее привели в белой рубашке. Эта рубашка потом вставала передо мной во сне и наяву. Я видела ее в этой рубашке на скамье подсудимых, с пустыми, как у куклы, глазами. Видела со спины, когда ее уводили. Пожизненно, с возможностью досрочного освобождения через тридцать пять лет. Я вернулась домой. Считала розы и спала.

А когда не спала, старалась вспоминать, чему она учила. Наша масть — Жезлы. Мы подвешиваем идолов на деревьях. Ни за что не позволяй мужчине остаться на ночь. Не забывай, кто ты. Я не могла вспомнить. Я была ребенком с отклонениями: на клеенчатой простыне, молчаливая, точно воды в рот набрала. Потерялась на бранном поле. Я дежурила по стирке, помогала нянечке относить белье в прачечную, смотрела, как оно крутится в машинке. Запах порошка успокаивал. Я спала столько, что уже не различала сон и явь. Иногда лежала на постели в комнате с розами и смотрела, как соседка на своей темной пепельной коже выцарапывает татуировки булавкой с желтой застежкой. Линии и завитки. Они заживали, превращались в выпуклые розовые дорожки. Соседка снова расцарапывала. Не сразу, но я все-таки поняла: она хотела, чтобы они были видны.

Мне снилось, что мать преследует меня в выжженном городе, слепая, неумолимая. «Всю правду и ничего, кроме правды». Я хотела солгать и не подобрала слов. Из нас двоих говорила всегда она. Мне нечем было ее защитить, нечем прикрыть ее нагое тело. Своим молчанием я приговорила ее и себя.

Однажды я проснулась и увидела, что соседняя девочка роется в моем ящике комода.

Смотрит книгу, листает страницы. Книгу моей мамы. Моей стройной нагой мамы в окружении чернорубашечников! Лапает ее слова.

— Не трожь мои вещи!

Девочка ошеломленно подняла глаза. Она и не подозревала, что я умею говорить, за долгие месяцы в одной комнате я не сказала ни слова.

— Положи на место!

Она осклабилась и вырвала страницу из книги, не спуская с меня глаз. Смотрела, что я сделаю. Слова моей мамы в ее загрубевших пальцах. Что я сделаю, что сделаю… Она принялась за следующую страницу, с ухмылкой затолкала ее в рот. Из покрытых волдырями губ торчали края.

Я бросилась на нее, сбила с ног, уперлась коленями в спину. Сверкнуло темное лезвие маминого ножа, в крови звенела песня. «Не забывай, кто ты!»

Я хотела ее порезать. Представляла, как лезвие входит в углубление у основания черепа. Она тихо ждала. Я глянула на свою руку, которая знала, как держать нож, как вонзить его в хребет безумной девочки. Это была не моя рука. Этого не было. Меня не было.

— Выплюнь! — прошипела я ей на ухо.

Она выплюнула порванную страницу, по-лошадиному храпнув.

— Не трогай мои вещи.

Она кивнула.

Я ее отпустила.

Она легла в постель и начала ковырять себя булавкой. Я убрала нож в карман, подняла смятые обрывки страницы.

В кухне нянечка со своим мужиком пили за столом дешевое пиво, слушали радио и ссорились.

— Они тебе никогда не заплатят, идиот! — доказывала она.

Меня не заметили. Нас вообще не замечали. Я взяла скотч и вернулась к себе.

Соединила порванные куски, вклеила в книгу. Ее первая книга, в темно-синей обложке с лунным цветком в стиле ар-нуво. Я провела пальцем по серебристому, как дым, лепестку, изогнутым, точно взмах хлыста, линиям. С этой книгой она выступала. Чуть заметные карандашные пометы на полях: «ПАУЗА; голос вверх». Я трогала страницы, которых она касалась, прижимала к губам мягкую плотную бумагу, желтую от старости, непрочную, как кожа. Подносила нос к переплету и вдыхала аромат ее чтений, запах сигарет без фильтра и бесчисленных эспрессо, пляжа, благовоний и шепота в ночи. Ее голос звучал со страниц. Обложка парусом загибалась вверх.

Сзади фотография. Мама в коротком платье с длинными элегантными рукавами. Длинные пряди волос, взгляд из-под челки, будто кошка выглядывает из-под кровати. Эта красивая девушка заключала в себе целую вселенную, а ее слова, звеневшие, словно гонг, постукивали, как флейты из человеческих костей. На фотографии все еще было хорошо. Я была в безопасности, крошечная яйцеклетка размером с булавочную головку в ее правом яичнике. И мы были неразлучны.

Когда я заговорила, меня отправили в школу. Белая девочка, альбинос, психованная. Кожа такая прозрачная, что видно, как бежит в жилах кровь. На каждом уроке я рисовала: соединяла точки на перфокартах в новые созвездия.

Глава 5

Соцработники сменяли друг друга, но были на одно лицо: вели меня в «Макдоналдс», открывали папки, задавали вопросы. «Макдоналдс» пугал. Дети, крики, плач, бассейны с цветными шариками. Мне нечего было сказать… На этот раз передо мной сидел белый парень — пиковый валет — с подстриженной бородкой, квадратными, точно лопата, ладонями и печаткой на мизинце.

Он нашел мне приемную семью. Когда я уезжала из центра на бульваре Креншо, никто меня не провожал. Только девочка с расцарапанными руками смотрела вслед с крыльца. Мы уносились по серо-белым улицам, обсаженным палисандровыми деревьями, на которых распускались бутоны цвета лаванды.

Четыре автомагистрали. Поворот на улицу, наклонно, как пандус, идущую вверх. Указатель «Тухунга». Сначала мимо проплывали большие одноэтажные дома, потом — приземистые поменьше, неухоженные дворы. Тротуары исчезли. На верандах, словно поганки, множилась мебель. Стиральная машина, хлам, белая курица, коза. Город остался позади. Мы поднялись на холм, и взгляду открылось сухое русло реки с полмили шириной, по которому, поднимая бледные клубы пыли, гоняли на кроссовых мотоциклах подростки. Воздух же, наоборот, казался неподвижным и бесплодным.

Остановились в неасфальтированном дворе перед трейлером с таким количеством пристроек, что волей-неволей приходилось называть его домом. На клумбе с геранью неподвижно торчала пластиковая садовая вертушка. Широкое крыльцо было увешано горшками с паучником. Тут же сидели три маленьких мальчика. Один держал в руках банку с какой-то живностью. Старший, чуть младше меня, поправил очки на носу и позвал кого-то через плечо. Из сетчатой двери вышла пышногрудая длинноногая женщина с плоской, как у боксера, переносицей и широко улыбнулась, сверкая мелкими белыми зубами. Ее звали Старр.

В трейлере было темно. Разговаривая с соцработником, Старр двигалась всем телом: откидывала голову, заливалась смехом. Между грудями поблескивал золотой крестик, и мой сопровождающий не мог оторвать глаз от этого потайного места. Они даже не обратили внимания, когда я вышла на улицу.

Здесь не росли бахромчатые палисандровые деревья — только олеандры и пальмы, а еще опунция и большое плакучее перечное дерево. Все вокруг покрывала розовато-бежевая, как песчаник, пыль, а чистое свинцово-голубое, витражное небо было широким, точно безмятежный лоб. Впервые на меня не давил потолок.

Старший из мальчиков, в очках, встал:

— Мы ловим ящериц. Хочешь с нами?

Они заманивали ящериц в коробку из-под обуви в сухом русле реки. Как терпеливы были эти мальчишки, как неподвижно и беззвучно ждали, пока зеленая ящерка попадется в ловушку! Дергали за веревочку, и коробка падала. Старший просовывал под низ лист картона и переворачивал, а средний хватал крошечное создание и отправлял в стеклянную банку.

— Что вы с ними делаете?

Очкарик удивленно поднял глаза:

— Изучаем, конечно!

Ящерка в банке извивалась и поднимала хвост, потом замерла. Теперь видно было, как

она, взятая в отдельности, совершенна — каждая чешуйка, каждый шероховатый коготок. Неволя сделала ее особенной. Недалеко от нас величественно возвышалась гора. Я обнаружила, что, если смотреть под определенным углом, ее массивные плечи с зелеными горошинами шалфея на склонах словно бы двигаются на меня. Подул легкий ветерок. Пронзительно закричала птица. От чапарреля шел жаркий свежий аромат.

Я пошла по сухому руслу между нагретыми солнцем валунами. Прижалась к одному щекой, представляя, что становлюсь такой же неподвижной и молчаливой, безразличной, куда после ливня выбросит меня река. Рядом неожиданно возник старший мальчик:

— Осторожно, это любимое место гремучих змей!

Я отошла в сторону.

— Техасский гремучник — самая большая из американских гадюк. Но они редко жалят выше щиколотки. Просто не лезь на камни или хотя бы смотри, куда ставишь руки. Вот! — Он поднял камушек и постучал по ближайшему валуну, будто в дверь. — Они избегают человека. И еще скорпионы. Вытряхивай обувь, особенно на улице.

Я внимательно посмотрела на этого веснушчатого худышку. Зачем он меня пугает? Видимо, хочет произвести впечатление своими познаниями. Я пошла дальше, глядя на валуны разной формы и их синие тени. Было чувство, что они обитаемы. Мальчик шел за мной по пятам.

— Кролик, — указал он на землю.

Я с трудом различила смазанные следы: два побольше, а позади один и еще один. Мальчик улыбнулся; его зубы тоже были слегка вдавлены назад, как у кролика. Такому ребенку место перед телевизором или в библиотеке, а он читает бледную пыль, как другие дети — комиксы или моя мать — карты. Жаль, что он не может прочесть в пыли мою судьбу.

— Ты глазастый!

Он улыбнулся. Ему хотелось, чтобы его заметили. Он сказал, что его зовут Дейви и он родной сын Старр. Еще есть дочь, Кароли. Двое других, Оуэн и Питер, — приемные. Ее родные дети тоже одно время жили в других семьях, пока она лечилась от алкоголизма.

Скольких же постигла такая участь? Скольких, как меня, носило волнами, точно планктон в безбрежном океане? Как непрочна связь между матерями и детьми, друзьями, родственниками! Все можно потерять намного проще, чем мы думаем.

Мы шли дальше. Дейви потянул за ветку кустарника с ярко-желтыми цветами.

— *Lotus scoparius*, семейство бобовых.

В каньоне подул ветер, играя серо-зеленой листвой.

— С зеленой корой — паркинсония. А то — железное дерево.

Безмолвие, неподвижная гора, белые бабочки. Травянистый запах малозмы, которую, по словам Дейви, местные индейцы использовали для ароматизации воздуха в вигвамах. Заросли плевела, еще зеленого, но уже потрескивающего, как костер.

Два ястреба с криками кружили в безоблачном небе.

Спальник украшали ковбои на мустангах, лассо и шпоры. Я лежала с расстегнутой молнией, впуская прохладу, а пухлогубая шестнадцатилетняя Кароли ростом с мать угрюмо застегивала блузку.

— Думает, что запрет меня тут, — обратилась Кароли к своему отражению в зеркале. — Как же!

За тонкой перегородкой Старр и ее хипповый дружок занимались любовью. Изголовье

кровати то и дело стукало о стену. Ничего общего с ночной магией мамы и ее молодых мужчин, их шепотом в благоуханных сумерках под переборы старинной японской цитры.

— Боже всемогущий! — простонала Старр.

Губы Кароли, которая, поставив ногу на кровать, завязывала шнурки, скривились в усмешку.

— Верующим не положено говорить: «Трахай сильнее!» Им вообще не положено трахаться, но вирус греха у нее в крови.

Погляделась в зеркало, расстегнула молнию блузки еще на пару сантиметров, чтобы видна стала ямочка между грудями. Оскалила зубы и провела по ним пальцем.

Взвыл мотоцикл. Кароли распахнула москитный экран и взобралась на комод, чуть не угодив в корзинку с косметикой.

— До завтра! Окно не закрывай!

Я смотрела, как она уносится на мотоцикле по широкой лунной дороге. Телефонные столбы исчезали вдалеке, в черных, темнее неба, горах. Представила, как уезжаю еще дальше, за эту точку, и оказываюсь где-то в абсолютно новом месте.

— Если бы не вера, меня бы и на свете не было. — Старр подрезала фуру, и та наказала нас оглушительным сигналом. — Вот истинный крест! Я тогда совсем до ручки дошла, у меня уже и детей отняли!

Я сидела на переднем пассажирском сиденье «Форда Торино», Кароли сгорбилась сзади. На щиколотке у нее поблескивала цепочка — подарок Деррика, ее парня. Машина подскакивала на ухабах — Старр слишком гнала и при этом одну за другой курила «Бенсон энд Хеджес» из золотистой пачки под аккомпанемент христианского радио. Рассказывала, как раньше пила, нюхала кокаин и работала официанткой в клубе «Троп», где обслуживала посетителей топлесс.

Она не была такой красивой, как мама, и все-таки притягивала взгляды. Я еще ни у кого не видела такой фигуры. Разве что на последних страницах «Лос-Анджелес уикли», где помещали фото сдобных девиц с телефонными трубками. Ее энергия ошеломляла. Она без перебоя болтала, смеялась, поучала и курила. Интересно, какая же она тогда под кайфом…

— Скоро познакомишься с преподобным Томасом! Ты уже уверовала в Иисуса, спасителя твоей души?

Я хотела рассказать, что мы подвешивали идолов на деревьях, но передумала.

— Ничего, уверуешь. Господи, как только услышишь его проповедь, спасешься в ту же минуту!

Кароли закурила «Мальборо» и опустила окно.

— Жулик сраный… Как можно вестись на такое дерьмо?

— «Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Так-то, мисси!

Старр даже родных детей никогда не звала по имени, только «мистер» и «мисси».

Мы ехали в соседний городок, Санленд, подобрать мне гардероб для новой жизни. Раньше мы с мамой одевались в Венис-Бич… Я еще ни разу не была в таких магазинах. Со всех сторон — кричащие цветные пятна: маджента! бирюзовый! кислотный! Мигающие лампы дневного света. Старр сунула мне полную охапку одежды и потащила за собой в примерочную, чтобы болтать дальше.

В кабинке она, извиваясь, натянула короткое полосатое платье, разгладила его на талии и повернулась боком. Полоски растянулись, облегая зад и конические груди и создавая

причудливый оптический эффект. Неловко было пялиться, но и не смотреть — невозможно. Интересно, что подумает преподобный Томас, когда увидит ее в этом наряде?

Старр нахмурилась, стянула платье через голову и повесила обратно на плечики; оно медленно сжималось до первоначального размера. Ее тело в маленькой примерочной — это было чересчур. Я только и смотрела в зеркало на грудь, вываливающуюся из бюстгалтера на косточках. Посередине, как змея в камнях, прятался крестик.

— Грех — это вирус. Так говорит преподобный Томас. Страна заражена им, как гонореей. Теперь есть неизлечимая гонорея. С грехом то же самое. Все отговорки давно известны. Какая кому разница, нюхаю я кокаин или нет? Да, я хочу, чтобы всегда было клево, ну и что? Кому от этого плохо? — Она широко раскрыла глаза, и стал виден клей на накладных ресницах. — Нам плохо! И Иисусу! Потому что неправильно.

Она произнесла последнее слово негромко и нежно, как воспитательница в детском саду. Я попыталась представить, каково работать в мужском клубе, входить нагишом в комнату, битком набитую мужчинами.

Старр сунула голову в розовое платье-стрейч.

— Вирус пожирает человека изнутри и заражает все вокруг. Скорее бы ты послушала его проповедь! — Хмуро поглядела на свое отражение, повернулась спиной — платье было тесновато и задиралось. — Нет, тебе больше пойдет.

Протянула мне. Оно пахло ее тяжелыми духами, «Обсешн». Когда я разделась, Старр внимательно оглядела мое тело, словно примериваясь, купить или нет. Мое белье истерлось до дыр.

— Пора тебе носить лифчик, мисси. Слава богу, тринадцать лет! Я свой первый получила в девять. Ты же не хочешь, чтобы к тридцати они болтались до коленок?

Тринадцать?! Я потрясенно обронила с крючка ворох одежды, вспоминая прошедший год. Суд, заседания, вопросы, лекарства, соцработники… Где-то посреди всего этого мне исполнилось тринадцать. Я пересекла границу во сне, и никто не разбудил меня, чтобы шлепнуть штамп в паспорт. Тринадцать… Мысль настолько меня парализовала, что я не возразила, когда Старр захотела купить это розовое платье для церкви, два лифчика, «чтобы не болтались до коленок», упаковку трусов и еще кое-какую мелочь.

Зашли в соседний магазин за обувью. Старр сняла с витрины красные туфли на каблуках. Примерила без следка, потопала, разгладила на бедрах шорты, наклонила голову, поморщилась и поставила обратно.

— Я думала: «Кому какое дело, если я трясу сиськами у мужиков перед носом? Никого это не касается!»

— Мама, заткнись, пожалуйста! Люди смотрят!.. — прошипела Кароли.

Старр протянула мне пару розовых туфель на каблуке в тон платью. Я стала похожа на мультяшную Дейзи Дак, но Старр они понравились, и она заставила взять.

— Черт, ей кроссовки не помешали бы! — пробурчала Кароли. — У нее ничего, кроме сланцев.

Я выбрала хайкеры, надеясь, что они не очень дорогие. Старр посмотрела огорченно.

— Они… не очень тебе идут.

Змеи редко кусают выше щиколотки.

В воскресенье утром Кароли поднялась спозаранок, чем сильно меня удивила. В субботу она спала до двенадцати, а тут подхватилась в восемь и уже стояла в полной экипировке с

рюкзачком за плечами.

— Ты куда?

— Как куда? Не буду же я угрохивать день на преподобного Омерзилу и его треп про кровь Агнца! — Она бросила щетку и выбежала из комнаты. — Сайонара![3]

Хлопнула сетчатая дверь.

Приняв к сведению слова Кароли, я притворилась больной. Старр просверлила меня взглядом.

— На следующей неделе никаких отговорок, мисси!

Она нарядилась в короткую белую юбку, персиковую блузку и высоченные шпильки. В нос ударил «Обсешн».

Только когда ее «Форд» вырулил на дорогу, я осмелилась одеться и сделать завтрак. Приятно было остаться одной. Вдалеке, в русле реки, ревели моторы мотоциклов. Я как раз принялась за кашу, когда из спальни, натягивая футболку, появился друг Старр. Босиком, в джинсах. Узкую грудь покрывала светлая с проседью поросль. Всклокоченные волосы, обычно убранные в хвост, были распущены. Прошаркал по коридору в туалет, помочился, смыл. Вошел в комнату и выудил сигарету из пачки на столе. На руке не хватало одного пальца целиком и фаланги другого.

Поймал мой взгляд.

— Видела, как плотники заказывают столик? «На троих, пожалуйста!» — Он поднял изувеченную руку.

По крайней мере, он себя не жалеет. Друг Старр мне, можно сказать, нравился, хотя я смущенно вспоминала доносившиеся из-за стены крики про «Бога всемогущего». Внешность его была непримечательной: худое лицо, грустные глаза, длинные седеющие волосы. Полагалось звать его дядя Рэй. Он вытащил из холодильника пиво и сбил крышку. П-ш-ш, вздохнула бутылка.

— Сбежала с шоу про Иисуса?

Он не пил, а просто заливал жидкость себе в глотку.

— Ты тоже.

— Лучше застрелиться! Скажу тебе вот что: если Бог и есть, он так облажался, что не заслуживает молитв. — Рэй громко рыгнул и улыбнулся.

Я никогда не задумывалась о Боге. У нас дома были «Сумерки богов», мировое древо. Был Олимп с его скандалами, Ариадна и Бахус, «Даная». Я слышала про Шиву, Парвати, Кали и богиню вулканов Пеле, но имя Христа оставалось при матери под строжайшим запретом. Она даже отказалась ехать на рождественский спектакль в школу, и мне пришлось проситься в машину к однокласснику.

Самым приближенным представлением о Боге было созерцание безоблачного голубого неба и сопутствующее ему некое безмолвие. Только как этому молиться?

Дядя Рэй прислонился к косяку и курил, глядя на высокое перечное дерево и свой пикап во дворе. Пиво он держал в той же руке, что и сигарету — недурное достижение для человека с тремя пальцами. Прищурился, выпустил дым сквозь сетку.

— Мечтает ее трахнуть, и все дела. На что спорим, скоро велит ей гнать меня в шею! И тогда я достану свой «смит-вессон» и кое-чему поучу засранца. Будет ему кровь Агнца!

Я выбрала из каши кусочки пастилы — сиреневые полумесяцы и зеленые листики клевера — и выложила их в ряд на краю тарелки.

— Если пожениться, это не грех.

Думала, он не услышит.

— Я уже женат, — отозвался Рэй, глядя сквозь сетку на перечное дерево, ветви которого развевались, как длинные женские волосы, и улыбнулся. — Болезнь совсем запущена.

Я раскладывала полумесяцы и клевер по очереди, съедая те, что падали в кашу.

— А где твоя жена?

— Не знаю. Не видел ее года два или три.

Он так спокойно говорил, что какая-то женщина живет с его именем и его прошлым… Мне стало дурно, захотелось ухватиться за что-то прочное. Вот какая жизнь: люди сходятся на мгновение и разъединяются волной! Вдруг я тоже вырасту и меня отнесет куда-то далеко? Мама может так и не узнать, где я, и через несколько лет просто пожмет плечами: «Не видела ее года два или три».

Мысль сразила меня, точно удар в живот. Я могу прожить годы и никогда больше ее не увидеть! Вот так запросто! Люди теряют друг друга, разжимаются в толчее руки. Вдруг я больше ее не увижу? Незрячие глаза за стеклянной стеной сухого аквариума, ее спина… Господи, о чем же я думала столько месяцев! Мне срочно нужна мама, кто-то, что прижмет меня к себе и не даст потеряться.

— Эй, ты чего? — Дядя Рэй сел рядом, пристроил сигарету на банку с пивом и взял меня за руки. — Не плачь! Что случилось? Скажи дяде Рэю!

Я лишь помотала головой. Грудь, точно бритвой, раздирали сухие всхлипы.

— Скучаешь по маме?

Я кивнула. Горло свело, как будто меня душили, выдавливая из глаз влагу. Потекло из носа. Рэй подвинул стул и обнял меня за плечи, протянул со стола салфетку. Я уткнулась ему в футболку, орошая ее слезами и соплями. Объятие было приятно. Я вдыхала запах сигарет, немытого тела, пива, древесных стружек и какой-то зелени.

Он обнимал меня, он был надежным, он не позволил бы потеряться. Говорил, что все будет хорошо, я замечательная девочка, все образуется. Немного погодя вытер мне щеки тыльной стороной ладони, приподнял за подбородок, чтобы рассмотреть лицо, откинул с глаз волосы.

— Очень по ней скучаешь, да? Она такая же хорошенькая?

Грустные и добрые глаза.

Я слабо улыбнулась.

— У меня есть фотография.

Я помчалась к себе и принесла «Пыль», последнюю мамину книгу. Ласково погладила ее изображение на задней обложке — снимок, сделанный в Биг-Сур. Огромные скалы, вырастающие из воды, прибитые к берегу коряги. В шерстяном свитере, с развевающимися на ветру волосами, она походила на Лорелею, из-за которой разбиваются корабли. Одиссею пришлось бы привязать себя к мачте.

— Ты будешь красивее, — заметил дядя Рэй.

Я вытерла нос о короткий рукав своей футболки и улыбнулась. На рынке люди останавливались посмотреть на мою маму. Не так, как на Старр, — просто любовались красотой. Наверное, удивлялись, что она покупает продукты и ест, как простые смертные. Я не могла представить, что стану такой же красивой. Я бы не посмела, слишком страшно.

— Нет.

— Еще как! Просто ты другого типа, ты милашка. А твоя мать при случае укусит. Это не плохо, я не против жесткости, но ты понимаешь, о чем я… Ради тебя мужики просто будут

помирать пачками, как мухи. — Он ласково вгляделся в мое понурившееся лицо и мягко продолжил: — Слышишь меня? Чтобы пройти по улице, придется распихивать тушки!

Никто никогда мне такого не говорил. Даже если он врал, чтобы подбодрить, другим до меня и вовсе дела не было.

Полистал страницы.

— Смотри, здесь одно про тебя!

Я вырвала книгу и залилась краской. Я знала стихотворение.

Ш-ш-ш…
Астрид уснула.
Безмолвный колодец розовых губ.
Голая ножка свисает с кровати
Неконченной мыслью…
Грозди веснушек дарят надежду.
Ракушка каури — в ней шепчет
Спящая женщина…

Она читала его на вечерах, а я рисовала за столом, как будто не слышу, как будто речь не обо мне, не о моем теле, не о моих детских органах. Я терпеть не могла это стихотворение. Что она себе думает? Что я не понимаю, о чем оно? Что мне все равно, перед кем она его читает? Нет, она думала, что раз я ее дочь, то я ее собственность, и можно делать со мной все, что заблагорассудится: превратить меня в стих, выставить напоказ мои худые ноги и раковину каури, непробудившуюся женщину…

— Что с ней? — спросил он.

— Она убила любовника.

Я смотрела на маму. Ее профиль копьем вонзался мне в ребра, протыкал печень и правое легкое. С ресницы упала слеза. Я вытерла фото.

— Она в тюрьме.

Он пожал плечами. Мол, случается. Ничего хорошего, но и ничего необычного.

Я окончила восьмой класс в школе Маунт-Глисон, третьей моей школе за год. Ни с кем не сдружилась — не хотела. Обедала вместе с Дейви. Мы экзаменовали друг друга по карточкам, которые он писал. Как называется детеныш хорька? Щенок. Сколько особей в помете? От шести до девяти. Что самое знаменитое в созвездии Андромеды? Туманность Андромеды. Красивейшая звезда? Двойная гамма Андромеды. Расстояние до Земли? Два миллиона световых лет. Аномалии? В отличие от других спиральных туманностей, которые быстро от нас удаляются, Андромеда приближается со скоростью триста километров в секунду.

Мой соцработник частенько наведывался в трейлер, сидел со Старр на крыльце под горшками с паучником и старался произвести впечатление. Однажды сказал, что мать перевели в Чино, и с четверга ей разрешены посещения. Специальная служба возит детей на свидания, и я тоже поеду.

Помня о своем первом посещении тюрьмы, я боялась. Не знала, выдержу ли такое снова. Если мама по-прежнему зомби, я не вынесу. Кроме того, я боялась протянутых сквозь

решетку змееподобных рук, лязганья посуды. Как мама там выживает?! Моя мама, которая ставила белые цветы в вазу льдистого стекла и часами спорила о том, хороший поэт Фрост или нет!

Я знала, как: она сидит в углу, одурманенная, слабо шепчет свои стихи, снимает катышки с одеяла. Или лежит без сознания после побоев охраны и сокамерников. Она не умела летать низко, чтобы не запеленговали.

Вдруг она не захочет меня видеть? Вдруг винит, что я ей не помогла? С того дня в тюрьме, когда она меня не узнала, прошло восемь месяцев. Размышляя об этом ночью, я даже в какой-то момент решила не ехать. Однако в пять все-таки поднялась, приняла душ и оделась.

— Никаких джинсов, ничего синего! — велела Старр накануне вечером. — Ты же хочешь оттуда выйти?

Могла бы и не напоминать. Я надела лифчик, новое розовое платье и мультяшные туфельки Дейзи Дак. Хотелось показать матери, что я повзрослела.

Микроавтобус прибыл в семь. Старр вышла в халате подписать бумаги. Водитель пялился на нее с раскрытым ртом. Внутри оказался один мальчик. Я села перед ним, тоже у окна. По дороге подобрали еще троих.

День выдался облачным. Июньский туман. На ветровое стекло оседали капельки влаги. Шоссе просматривалось не дальше следующей эстакады. Она появлялась из тумана и снова исчезала. Мир создавал и уничтожал сам себя. Меня укачало, и я открыла окно. Ехали долго. Городки, городки. Если бы только знать, какая она теперь… Я не представляла маму в тюрьме. Она не курит и не жует зубочистки. Не говорит «сука» и «дерьмо». Она знает четыре языка, цитирует Т.С. Элиота, Дилана Томаса и пьет из фарфоровой чашки лапсанг сушонг. Она ни разу не была в «Макдоналдсе». Она жила в Париже и Амстердаме, Фрайбурге и на Мартинике. Мама в тюрьме? Невозможно!

Свернули с шоссе в сторону Чино и двинулись на юг. Я старалась запомнить дорогу, чтобы снова найти ее в своих снах. Проезжали по красивым и не очень красивым городкам, новым участкам под застройку вперемешку со складами пиломатериалов и пунктами проката сельхозтехники. Началась настоящая деревня без указателей на дороге, только поля, молокозаводы и запах навоза.

Справа показался большой комплекс.

— Оно? — спросила я у соседки.

— Нет, это ДИК.

Я непонимающе подняла голову.

— Детская исправительная колония.

Мрачно проводили ее взглядами. Мы тоже могли оказаться там, за колючей проволокой. Мимо мужской тюрьмы, построенной в поле на некотором удалении от шоссе, проехали в гробовом молчании. Наконец автобус свернул на новую асфальтовую дорогу, проехал мимо магазинчика, где упаковка «Будвайзера» стоила 5.99. Я старательно все запоминала. Теперь я увидела тюрьму: трубы, водонапорная башня, сторожевая вышка, обшитая алюминием, как трейлер Старр. Низкие кирпичные строения были поставлены на приличном расстоянии друг от друга и окружены деревьями, кустами роз и бесконечными зелеными газонами. Если бы не вышки и колючая проволока, комплекс сошел бы за среднюю школу в пригороде.

На деревьях хрипло каркали вороны. Казалось, они раздирают что-то на куски, не от

голода, а ради развлечения. Мы по одному прошли через вышку и зарегистрировались. Охрана обыскала рюкзаки и пропустила нас через металлодетектор. У одной девочки забрали сверток. Подарки запрещены, их надо посылать почтой, не чаще четырех раз в год. Позади с грохотом захлопнулась дверь. Мы вздрогнули. Теперь мы тоже за решеткой.

Мне велели ждать под деревом у оранжевого деревянного стола со скамьей. После тряской дороги все еще мутило. Я волновалась. Узнаю ли я маму? Я дрожала, жалея, что не захватила свитер. Что она подумает обо мне, в лифчике и на каблуках?

За решеткой, отделяющей двор для свиданий, толкались женщины — преступницы с масками вместо лиц. Выкрикивали непристойные шутки. Одна свистнула мне и высунула язык между пальцев. Другие загоготали и все никак не унимались. Вороны!

Во двор приводили матерей в джинсах, футболках, серых свитерах и спортивных костюмах. Я увидела мать. Она дожидалась своей очереди в простом джинсовом платье с пуговицами на груди. На ней этот синий цвет был красив, как песня. Какой-то горе-парикмахер неловко обкорнал по шею белые волосы, но голубые глаза оставались чистыми, как высокая нота на скрипке. Я еще никогда не видела ее такой красивой. Я встала и ждала, трепеща от волнения. Колени подгибались. Она подошла и прижала меня к себе.

Ее прикосновение, ее руки после долгих месяцев!.. Я спрятала лицо у нее на груди, а она целовала меня и вдыхала аромат волос. Теперь она пахла не фиалками, а стиральным порошком. Взяла мое лицо в ладони и все целовала и целовала, вытирая мне слезы сильными большими пальцами.

Я жадно пила ее глазами: лицо, голос, квадратные передние зубы и немного развернутые вторые, ямочка на левой щеке, полуулыбка, чудесные голубые глаза со светлыми крапинками, точно новые галактики, упругие очертания лица. Совсем не похоже, что она сидит в тюрьме — скорее, что минуту назад вышла из магазина в Венис-Бич с книгой под мышкой и направляется в прибрежное кафе.

Она потянула меня на скамью за стол и прошептала:

— Не плачь, мы не плачем. Мы викинги, помнишь?

Я кивнула, а слезы сами капали на оранжевую виниловую поверхность, где кто-то нацарапал: «Лоис с Восемнадцатой улицы — коза».

Женщина на цементном дворе за ограждением свистнула и что-то крикнула. Мама подняла голову и посмотрела на нее в упор, точно ударила. Женщина запнулась на полуслове и поспешно отвернулась, как будто это не она сказала.

— Какая ты красивая! — Я касалась ее волос, воротника, щеки — совсем не мягкой, как в моем сне.

— Тюрьма мне подходит. Здесь не лицемерят. Или ты убьешь, или тебя, и все это понимают.

— Я так по тебе скучала!

Она обняла меня за плечи, коснулась моего лба и поцеловала в висок.

— Меня так просто не запрешь, я выйду, найду способ. Обещаю! Однажды ты выглянешь в окошко — а там я.

Я смотрела на ее решительное лицо, выступающие скулы, уверенные глаза.

— Ты не сердишься?

Она отстранила меня, чтобы лучше рассмотреть, положила руки мне на плечи.

— На что?

Что я плохо врала… Я не посмела сказать это вслух.

Она снова меня обняла. Хотелось навечно остаться в этих руках. Ограбить банк и сесть в тюрьму, чтобы быть вместе. Свернуться калачиком у нее на коленях, раствориться в ее теле, стать ее ресницей, сосудиком на бедре, родинкой на шее.

— Здесь ужасно? Они тебя обижают?

— Я их обижаю больше.

Я поняла, что она улыбается, хотя видела только джинсовую материю и руку, все еще хранящую следы загара. Немного повернула голову, чтобы посмотреть ей в лицо. Да, знакомая полуулыбка, уголок рта изогнут маленькой запятой. Коснулась ее губ. Она поцеловала мне пальцы.

— Сначала посадили за бумажки. Я сказала, что лучше мыть туалеты, чем печатать их бюрократическую блевотину. Им все равно. Теперь я в группе по уборке территории. Подметаю, пропалываю. Конечно, только внутри. Меня считают неопасной. Представляешь? Я не намерена давать уроки их неграмотным, учить писать или как-то иначе поддерживать систему. Служить им я не буду! — Она уткнулась носом в мои волосы. — Ты пахнешь хлебом. И еще клевером и мускатным орехом. Хочу хорошенько запомнить тебя в этом прискорбно оптимистичном розовом платье и лакированных туфельках, как у подружки невесты или девчонки на выпускном вечере. Без сомнений, идея твоей приемной матери. Розовый… Верх банальности!

Я рассказала ей про Старр, дядю Рэя, детей, кроссовые мотоциклы, паркинсонию и железное дерево, цвет валунов в русле реки, гору и ястребов. И про вирус греха. Было так радостно слышать ее смех.

— Пришли мне рисунки! Ты всегда рисовала лучше, чем писала. Наверное, только этим объясняется твое молчание все эти месяцы.

Я и не знала, что можно писать…

— Ты же мне не писала.

— Ты не получала моих писем? — Улыбка исчезла, лицо осунулось, превратилось в маску, как у женщин за забором. — Скажи свой адрес, стану писать напрямую, а не через соцслужбу. Моя ошибка. Ничего, впредь будем умнее! — В глазах вновь засверкал огонь. — Мы их перехитрим, *ma petite*[4].

Я не знала адрес, и тогда она продиктовала свой, заставила повторить несколько раз. Сознание взбунтовалось против такого адреса мамы: Ингрид Магнуссен, заключенная B99235, калифорнийское казенное учреждение для женщин, Корона-Фронтера.

— Где бы ты ни была, пиши хотя бы раз в неделю! Или присылай рисунки. Видит бог, визуальная стимуляция здесь оставляет желать лучшего. Особенно интересно посмотреть на эту бывшую танцовщицу-топлесс и дядюшку Эрни, нашего неуклюжего плотника[5].

Я была задета. Дядя Рэй помог мне в трудную минуту. И ведь она его совсем не знает!

— Его зовут Рэй. Он хороший.

— Вот как… Держись от него подальше, особенно если он такой хороший.

Но она была здесь, а я там. У меня появился друг, и она не могла его отнять.

— Я все время о тебе думаю, — продолжала мама. — Особенно по ночам. Когда все спят и в тюрьме тихо, представляю, что вижу тебя, устанавливаю связь. Ты слышишь, как я тебя зову, чувствуешь мое присутствие?

Она потеребила между пальцев прядь моих волос, вытянула ее вдоль руки посмотреть длину. Доходило до локтя.

Я на самом деле чувствовала, это правда. Слышала, как она меня звала: «Астрид! Ты

спишь?»

— Да, поздно ночью. Ты совсем не спишь!

Она поцеловала меня в пробор.

— Ты тоже. А теперь расскажи-ка побольше о себе, я хочу знать все!

Неожиданно… Прежде она никогда мною не интересовалась. Долгие одинаковые дни вернули ее мне, напомнили, что где-то там у нее есть дочь. Солнце поднималось выше, и туман в воздухе горел, точно бумажный фонарик.

Глава 6

В следующее воскресенье я проспала из-за сладкого сна про маму. Мы шли по кипарисовой аллее в Арле между могил и полевых цветов. Она сбежала из тюрьмы — косила газон перед зданием и незаметно вышла за территорию. Арль состоял из густых теней и медового солнца, римских развалин и нашей маленькой пенсии. Если бы я не стремилась продлить этот сон, не жаждала подсолнухов Арля, то встала бы, когда мальчишки сбежали к реке.

А теперь приходилось сидеть на переднем сиденье «Торино». Сзади постанывала Кароли. Прошлой ночью они с друзьями ширялись, и у нее раскалывалась голова. Старр тоже застукала ее в постели. По радио крутили Эмми Грант, Старр подпевала. Ее волосы были собраны в лохматую ракушку, как у Брижит Бардо, в ушах болтались длинные сережки. Судя по виду, собиралась она в бар, а не в храм Ассамблеи Христовой Истины.

— Вот дерьмо, — прошептала мне на ухо приемная сестра, когда мы вслед за матерью входили в церковь. — Полжизни за метаквалон!

Храм располагался в бетонном здании с линолеумом на полу и высокими матовыми стеклами вместо витражей. В центре возвышался современный крест рыжего дерева, и какая-то женщина с пышной прической играла на органе. Мы уселись на складные белые стулья: слева Кароли, с темным от головной боли и дурного настроения лицом, у прохода — подпрыгивающая от возбуждения Старр. Из-под короткой юбки был виден плотный верх колготок.

Орган зазвучал громче, и к кафедре вышел мужчина в темном костюме и начищенных черных туфлях, как у бизнесмена. Я ожидала чего-то вроде академической мантии. Короткие на косой пробор каштановые волосы масляно блестели под цветными лампочками. Старр выпрямилась, надеясь, что ее заметят.

Как ни странно, у проповедника обнаружился дефект речи — он забавно смягчал «л», отчего выходило «Господь пришель» вместо «пришел».

— И нас, мертвых по преступлениям, оживил со Христом — благодатью вы спасены, — и воскресил с Ним, и посадил на небесах… во Христе Иисусе.

Воздел руки, точно приподнимая слушателей. Язык у него был подвешен хорошо. Он знал, когда повысить голос, а когда шептать. Смолк, очевидно, готовясь к коронной фразе. Я рассматривала большие горящие глаза, маленький приплюснутый нос и рот с тонкими губами, широкий, как у куклы из «Маппет-шоу», так что казалось, что раскрывается вся голова.

— Да, мы тоже можем ожить, даже если погибаем от вируса греха…

Кароли нарочно скрипнула стулом. Старр шлепнула ее по руке, пихнула меня локтем и указала глазами на преподобного, словно было на что смотреть.

Преподобный Томас завел историю о парне из шестидесятых, который думал, что сам может выбрать свою дорогу, если она не мешает другим:

— Он познакомился с гуру, который велел искать истину внутри себя. — Проповедник сделал паузу и улыбнулся, как будто идея истины внутри себя была абсурдной и смехотворной, этакий предупредительный красный сигнал погибели. — Мол, мы сами решаем, что есть истина.

Преподобный снова улыбнулся, и я поняла, что он всегда делает паузу и улыбается, когда

говорит о том, чего не одобряет. Как человек, который прищемляет вам пальцы дверью и при этом мило беседует.

— О, в то время он был отнюдь не одинок в своей философии! — продолжал преподобный Томас, сияя круглыми, как пуговицы, глазами. — «Живи как заблагорассудится, — твердили все вокруг. — Что хочешь, то и хорошо, потому что ты так хочешь. Бога нет, смерти нет, есть только удовольствия». — При слове «удовольствия» он улыбнулся, точно это нечто безобразное, омерзительное и ему жаль любого, кто по слабости своей ими дорожит. — А если кто-нибудь заговаривал об ответственности и последствиях, его поднимали на смех. «Не парься, чувак!» Да, молодой человек, сам того не желая, подхватил смертельный вирус. Тот проник в его сердце, усыпил совесть, заглушил доводы рассудка. — Преподобный прямо-таки лучился радостью. — И спустя какое-то время он уже не видел разницы между добром и злом.

Что же удивительного, что паренек стал убийцей из мэнсоновской секты?

Теперь я откинулась на стуле, как и Кароли. Меня мутило от духóв Старр и шипения преподобного.

По счастью, в тюрьме молодому человеку было откровение. Он осознал, что пал жертвой повальной эпидемии греха, и с помощью товарища открыл для себя Господа и Его животворящую кровь. Теперь он проповедует заключенным и поддерживает отчаявшихся. Хотя парень провел за решеткой четверть века и никогда не выйдет на свободу, в его жизни есть смысл — помогать другим и нести Благую весть тем, кто никогда не заглядывал дальше своих сиюминутных желаний. Он спасся, возродился в Господе и стал новым человеком.

Я без труда вообразила в тюрьме безжалостного убийцу с извращенным мышлением и последующее чудо. Воссиял божественный свет, и паренек увидел всю чудовищность своего преступления, понял, что зря погубил жизнь и превратился в монстра. Живо представилась его агония. Он запросто мог покончить с собой. Наверное, был очень к этому близок. Но забрезжил луч надежды, что можно жить иначе, что в нашем существовании все-таки есть смысл. Он стал молиться, и Святой Дух вошел в его сердце.

И вот теперь, вместо того чтобы прозябать долгие годы ходячим трупом, он обрел смысл жизни и нес свет в сердце своем. Это я понимала. В это я верила.

— Есть средство против эпидемии смертельного вируса, уничтожающего самою нашу суть. — Преподобный Томас протянул руки, точно хотел нас обнять. — Действенная вакцина против разрушительной инфекции в человеческом сердце. Но сперва нужно осознать опасность, признать серьезность диагноза, согласиться, что, потакая желаниям и нарушая заповеди, мы заразились смертельной чумой. Нужно принять свою ответственность перед силами небесными и собственную слабость.

Меня захлестнули воспоминания, которые я долгие месяцы держала на расстоянии: день, когда я позвонила Барри и повесила трубку. Я отчетливо помнила, как кладу трубку, чувствовала в руке ее тяжесть. Моя ответственность. Инфекция.

— Чтобы побороть заразу в душе, нужны антитела Христа. А те, кто решает служить себе, а не Отцу нашему Небесному, ощутят всю тяжесть ужасных последствий.

История перестала быть отвлеченной. Преподобный Томас говорил правду. Я подхватила смертельный вирус, мои руки в крови! Я думала о своей красивой матери в тесной камере. Ее жизнь остановилась. Она, совсем как тот парень из коммуны Мэнсона, не верила ни во что, кроме себя, — ни в какой высший закон, ни в какую мораль. Думала, что ее желания оправдывают все, даже убийство. Она не прибегала к аргументу «кому от этого плохо», у нее

просто не было совести. «Не буду служить» — слова Стивена Дедала из «Портрета художника в юности»… Но это же и есть грехопадение, происки сатаны! Сатана отказывается служить.

Из хора вышла вперед пожилая женщина и запела: «Он пролил за меня Свою кровь на Голгофе»… Петь она умела. Слезы катились у меня по лицу. Наши души, мамина и моя, умирают. Вот если бы у нас был Бог, Иисус, кто-то, в кого можно верить, мы еще могли бы спастись и начать новую жизнь.

В июле меня покрестили в Ассамблее Христовой Истины. Мне даже было все равно, что проводил церемонию преподобный Томас, этот лицемер, который, поднимаясь за Старр по лестнице, раздевал ее глазами. Я зажмурилась, и он окунул меня в квадратном бассейне за зданием церкви. В носу защипало от хлорки. Я жаждала, чтобы Дух Святой вошел в меня и смыл скверну, хотела следовать Божьим заповедям. Я уже знала, куда приводит жизнь по своему разумению.

А потом праздновали крещение в местной кафешке — первый в жизни праздник в мою честь. Старр презентовала мне Библию в белом переплете из искусственной кожи, где отдельные абзацы были выделены красным. От Кароли и мальчиков я получила упаковку почтовой бумаги с изображением голубки, которая держала в клюве ленту с надписью «Хвали Господа». Я подозревала, что бумагу тоже выбрала Старр. Дядя Рэй подарил золотой крестик на цепочке, хотя считал, что я совсем спятила.

— Как ты веришь в это дерьмо? — прошептал он мне на ухо, помогая застегнуть цепочку.

Я приподняла волосы, чтобы ему было удобнее, и тихо ответила:

— Нужно же во что-то верить.

Теплая тяжелая рука коснулась шеи. Я смотрела в его доброе простое лицо, карие глаза и вдруг поняла, почувствовала, что ему хочется меня поцеловать. Он покраснел и отвернулся.

Дорогая Астрид!

ТЫ СОШЛА С УМА?! Я запрещаю тебе: 1) принимать крещение, 2) называть себя христианкой и 3) писать мне на этой идиотской бумаге. Ты не будешь подписываться «возрожденная во Христе»! Или ты не знаешь, что Бог мертв? Умер сто лет назад, потерял интерес к миру, ушел играть в гольф. Я воспитывала в тебе чувство собственного достоинства, а ты объявляешь, что отказываешься от всего ради какого-то Иисуса с рождественской открытки? Было бы смешно, если бы не было так отчаянно грустно.

И не смей просить меня принять Иисуса спасителем и омыть душу в крови Агнца. Не надейся ни на какое мое духовное перерождение! Я НИ О ЧЕМ не жалею. Любая хоть сколько-нибудь уважающая себя женщина поступила бы так же.

Природа зла и добра на все века останется одним из наиболее интригующих вопросов философии наряду с самим вопросом человеческого существования. Я не против, что ты решила над ними задуматься, я только против твоего подхода, отказа от разума. Если быть целеустремленным, быть центром собственной вселенной и жить по своим правилам — зло, то каждый художник, философ и самостоятельно мыслящий человек — зол. Потому что мы осмеливаемся смотреть своими глазами, а не изрыгать шаблонные фразы, позаимствованные у так называемых Отцов. Видеть самостоятельно значит похитить огонь у богов. Это предназначение человечества, двигатель нашей цивилизации.

Мои поздравления, Ева!
Мама.

Я молилась о ее духовном перерождении. Она убила человека, потому что он ее унизил, поколебал ее образ Валькирии, безупречной девы-воительницы, обнажил ее слабость и желание любви. И она отомстила. Я написала ей, что оправдывать себя легко и что она так поступила, потому что чувствовала себя жертвой. Если бы она на самом деле была сильной, то перетерпела бы унижение. Только Иисус наделяет нас силой противостоять греховному искушению.

В ответ она процитировала Люцифера из «Потерянного рая» Мильтона:

> Что из того, что мы побеждены?
> По-прежнему непобедимы воля
> С обдуманною жаждою отмщенья
> И ненависть бесстрашная, и дух,
> Не знающий вовеки примиренья[6].

Дядя Рэй учил меня шахматам по книжке «Уроки игры от Бобби Фишера». Сам он выучился еще во Вьетнаме.

— Надо было как-то убить время, — пояснил он, тронув пальцами заостренный верх белой пешки.

Он сам вырезал фигуры: вьетнамских королей, Будд вместо слонов, коней с точеными мордами и причесанными гривами. Трудно было вообразить, сколько месяцев он терпеливо выстругивал их швейцарским складным ножом под разрывы снарядов.

Мне нравилась упорядоченность игры, холодный расчет, удовольствие размышления. Мы играли почти все вечера, когда Старр уезжала на собрания анонимных алкоголиков или кокаинистов или в группу по изучению Библии, а мальчишки смотрели телевизор. Дядя Рэй клал на ручку кресла трубку с травкой и курил, пока я обдумывала ход.

В тот вечер мальчики смотрели документальный фильм о животных. Самый младший, Оуэн, сосал большой палец, держа в руках мягкого игрушечного жирафа, а Питер накручивал на палец прядь волос. Дейви пояснял братьям происходящее на экране:

— Это Смоки, альфа-самец.

Свет от телевизора отражался в стеклах его очков.

Дядя Рэй смотрел на меня так, что сердце мое раскрывалось, точно лунный цветок. Я чувствовала его взгляд у себя на лице, шее, волосах, рассыпавшихся по плечам и меняющих цвет от картинки в телевизоре. Показывали снежные просторы и охотящихся парами волков со странными желтыми глазами. Я ощущала себя непроявленной фотографией — мой образ постепенно проступал под его взглядом.

Волки вцепились в шею оленю, сбили его с ног.

— Не надо! — Оуэн крепче сжал жирафа с разорванной шеей.

— Закон природы, — заметил Дейви.

— Полюбуйся! — указал Рэй слоном на экран. — Если бы Бог спас оленя, волк умер бы с голоду. Почему Он должен отдавать предпочтение одному человеку перед другим?

Рэй так до конца и не смирился с моим крещением.

— Хорошие страдают точно так же, как плохие. Можно быть святым-пресвятым и все равно подхватить чертову заразу или стать на противопехотную мину.

— Хоть какая-то опора, — отозвалась я, двигая крестик по цепочке. — Компас и карта.

— А что, если Бога нет?

— Тогда притворяешься, что есть, — разницы никакой.

Он потягивал трубку, наполняя комнату вонючим дымом. Я смотрела на доску.

— А что говорит твоя мать?

— «Более достойно — царить в Аду, чем быть слугою в Небе»[7].

— Вот это по мне!

Я не стала уточнять, что она зовет его дядюшкой Эрни. В сетчатую дверь доносилась песня сверчков. Я откинула волосы и пошла слоном на b6, угрожая его коню. Он смотрел на мою голую руку, плечо, губы, и я расцветала при мысли, что впервые в жизни кто-то находит меня красивой. Я не считала это преступлением перед Иисусом — все хотят чувствовать себя любимыми.

Под колесами захрустел гравий, «Торино» Старр въехал во двор. Раньше обычного. Я расстроилась. Рэй обращал на меня внимание, только когда ее не было дома, в остальное время я оставалась ребенком, как все. И что так рано? Обычно она до одиннадцати пила кофе с алкоголиками или обсуждала со старушками в церкви тринадцатый стих двадцатой главы Евангелия от Матфея.

— Вот дерьмо! — Дядя Рэй быстро убрал травку и трубку, и в ту же секунду сетчатая дверь распахнулась и громко щелкнула электрическая мухобойка.

Старр на секунду застыла у двери, оглядывая комнату. Мальчишки на диване завороженно глядели на экран. На ее лице появилось смущение, словно она сама не поняла, почему вернулась в неурочный час. Она уронила ключи, подняла их под взглядом дяди Рэя. Грудь чуть не вывалилась из глубокого овального выреза платья.

Улыбнулась, скинула туфли, устроилась на подлокотнике кресла и поцеловала Рэя, лизнув ему ухо.

— Отменили? — спросил он.

Была моя очередь ходить, но он не обращал внимания.

Она прижалась к его плечу, уперлась грудью ему в шею.

— Просто надоело слушать их нытье, все эти треклятые истории. — Она взяла в руки моего белого коня. — Обожаю шахматы! Почему ты меня не научишь, Рэй, детка?

— Я пытался, — проворковал он, поворачивая голову и целуя ее в грудь прямо у меня на глазах. — Не помнишь? Ты взбесилась и перевернула доску. — Он отобрал у нее коня и вернул его на e5.

— Тогда я пила.

— Могут ли белые взять черных за один ход? — повторил он вопрос из книги Бобби Фишера.

— Всего за один? — Она щекотала ему нос прядью волос. — Как-то не очень весело!

Я пошла резной фигуркой на f3:

— Мат.

Они целовались, а потом она велела мальчикам заканчивать и идти в постель, а сама увлекла дядю Рэя в спальню.

Всю ночь, лежа в спальнике с брыкающимися мустангами и лассо, я слышала смех и

стук их кровати о стену. И думала, ревнуют ли родные дочери своих матерей и отцов, противно ли им, когда отцы целуют матерей, мнут им грудь. Сжала собственную маленькую грудь, горячую из-за спальника, и представила, какой она покажется чьей-то руке, представила, что у меня такое тело, как у Старр. Она была существом другого биологического вида: тонкая талия, круглые, как грейпфрут, груди и такой же круглый зад. Я вообразила, как раздеваюсь и мужчина смотрит на меня, как дядя Рэй — на нее.

До чего же жарко… Я расстегнула молнию, вытянулась сверху на горячей фланели.

Она даже ничего не скрывает, совсем не по-христиански. Всегда самые коротенькие шорты, обтягивающие блузки, джинсы, врезающиеся в лобок. Хотелось, чтобы и меня так желали, касались меня, как дядя Рэй — ее, как Барри — моей мамы.

Жаль, что Кароли не было дома. Она бы отпускала шуточки по поводу скрипящей кровати или дяди Рэя. «Того и гляди кондрашка хватит — все-таки почти пятьдесят, господи ты боже мой, если не помрет от натуги, считай, повезло! Они познакомились в клубе, когда Старр еще работала официанткой, а в такие места одни извращенцы и ходят!» Но Кароли по ночам пропадала. Вылезала в окно, как только Старр желала нам спокойной ночи, и отправлялась к друзьям на реку. Она никогда меня с собой не звала, и это задевало, хотя ее друзья мне все равно не нравились — злобно смеющиеся девчонки и неуклюжие хвастливые парни с бритыми головами.

Я вытащила руки из рукавов и потрогала под рубашкой кожу: волосы на ногах, гладкую внутреннюю поверхность бедер и влажное, резко пахнущее интимное место. Я трогала складки и представляла, как грубая рука, на которой не хватает пальцев, касается потайных закоулков моего тела. По другую сторону тонкой перегородки снова стукнула кровать.

Мать прислала список для чтения на лето — четыреста наименований: Колетт, Чинуа Ачебе, Мисима, Достоевский, Анаис Нин, Д.Г. Лоуренс, Генри Миллер… Я представила, как она лежит в кровати и перекатывает на языке их круглые, как бусины четок, имена. Старр порой возила нас в библиотеку. Ждала в машине и давала на все десять минут, грозя уехать без нас, если замешкаемся.

— Единственная книга, которая мне нужна, у меня уже есть, мисси!

Мы с Дейви сломя голову хватали книги, как на рождественской распродаже, а Питер и Оуэн с тоской крутились вокруг дедушки, который читал детям рассказы. Раньше, когда Рэй сидел дома, было лучше — он выбрасывал нас у библиотеки, шел пропустить пивка и возвращался через час или два. Малыши все это время слушали сказки.

Теперь Рэй плотничал в районе новой застройки. Я уже привыкла, что он всегда дома, и скучала. Это было его первое постоянное место с тех пор, как он работал учителем труда в средней школе в Санленде. Он повздорил с директором из-за того, что не встал на собрании, когда повторяли Клятву верности.

— Я воевал в гребаном Вьетнаме и получил «Пурпурное сердце» за ранение. А что сделал этот университетский говнюк? Герой хренов!

Его новый шеф жил в Мэриленде и плевал на Клятвы верности. Рэй получил место через знакомого. А мне в самый разгар лета пришлось целыми днями просиживать в трейлере, глядя, как Старр вяжет гигантский плед, на который точно пролилась радуга. Я читала и рисовала карандашом. Потом Рэй купил мне детский набор акварели, и я начала рисовать красками. Попытки обратить маму к Иисусу я оставила. Видимо, ей нужно самой к этому прийти. Все по воле Бога, как с Дмитрием в «Братьях Карамазовых» из ее списка для

чтения.

Вместо писем я слала маме карандашные и акварельные рисунки: Старр в шортах и на каблуках поливает из шланга герань; Рэй с пивом любуется с крыльца закатом; мальчишки теплым ласковым вечером вспугнули фонариком сыча; комплект шахматных фигур; Рэй смотрит на доску, подперев кулаком подбородок; паркинсония в прохладные утренние часы; гремучая змея вытянулась на камне.

В то лето я рисовала для всех. Ящериц — для Питера, детей на белых жирафах и единорогах — для Оуэна, хищных беркутов, красноплечих канюков, соколов и кактусовых сычей, на дереве и в полете, — для Дейви, по фотографиям в журналах. Нарисовала оплечный портрет Кароли для ее парня и кое-что для Старр, в основном ангелочков и Иисуса, идущего по воде, а также ее саму в разных позах, в купальном костюме, в стиле послевоенных плакатов.

Дядя Рэй попросил нарисовать его машину, старенький изумрудный «Форд» с наклейкой «Охранное предприятие «Смит-Вессон» на бампере. Я нарисовала его ясным утром на фоне гор: аквамарин, оранжево-розовый и голубой.

Лето достигло апогея, когда подули как никогда сильные Санта-Ана. Пожары перекинулись через хребет и опалили склоны. Всего в миле от нас, а не где-то там на горизонте, как было в городе. В верховье реки тлели тысячи акров. Упакованные вещи лежали наготове в пикапе Рэя и багажнике «Торино». Ветра задували, точно ураган, площадь горения исчислялась квадратными милями, а в городе передавали сообщения о погромах. Дядя Рэй завел привычку после работы чистить на веранде оружие — пепел от пожаров тонким слоем облеплял все вокруг. Однажды он протянул мне маленькую «беретту», которая смотрелась в руке как игрушечная.

— Хочешь пострелять?

— Конечно!

Он не разрешал мальчишкам трогать оружие. Старр терпеть не могла пушки, хотя теперь, услышав про беспорядки, перестала пилить его на этот счет. Он взял баллончик с зеленой краской, нарисовал на доске человечка и, забавы ради, — телевизор у него в руках. Прислонил доску к олеандру на другом конце двора.

— Спер твой телик, Астрид! Пришей его!

Стрелять из маленькой «беретты» двадцать второго калибра было весело. Я попала четыре раза из девяти. Чтобы не путаться, Рэй заклеивал старые дырки лентой. В конце концов дал попробовать все: винтовку, короткоствольный полицейский «смит-вессон» тридцать восьмого калибра и даже помповый дробовик. Больше всего мне понравилась «беретта», хотя Рэй заявил, что «смит-вессон» лучше по «убойной силе». Он вкладывал его мне в руки, учил, как целиться и нажимать на спусковой крючок. «Смит и вессон» оказался самым заковыристым — надо обязательно держать на вытянутых руках, иначе из-за сильной отдачи врежет по лицу.

У каждого оружия было свое предназначение, как у молотка или отвертки. Винтовка — для охоты, «беретта» — для потенциально опасных ситуаций в баре, на свидании или при встрече со своим бывшим. Рэй называл все это «близкой пальбой». Дробовик — для охраны дома.

— Назад, внучата! — по-стариковски хрипел он, и мы прятались у него за спиной, а он поливал дробью олеандры.

А «смит-вессон»?

— Тридцать восьмой калибр — только для одного: убить любовника!

Я воображала себя девушкой в израильской армии, в шортах, на горячем ветру, с пистолетом в вытянутых руках. Непривычно было ощущать на себе взгляд Рэя. Я не могла полностью сосредоточиться на мишени. Его глаза отвлекали меня от банки с колой, в которую я целилась.

Вот что значит быть красивой, думала я. Вот что чувствовала мама! Глаза, сбивающие тебя с траектории полета. Я одновременно сосредоточивалась на мишени и ощущала свои босые ступни на пыльном дворе, крепнущие ноги, грудь в новом лифчике, длинные загорелые руки, белые волосы на горячем ветру. Я чувствовала, что красива и в то же время — что мне помешали. Не привыкла к таким сложностям.

Глава 7

В ноябре с его синими сумерками и золотистыми от солнечных лучей валунами мне исполнилось четырнадцать. Старр закатила вечеринку с клоунскими колпаками, серпантином и пригласила парня Кароли и даже моего соцработника, пикового валета. Был магазинный торт с фигуркой гавайской танцовщицы в дикарской юбочке и моим именем синими буквами, и все пели «С днем рожденья тебя!». На торте стояла толстая свеча, которая никак не гасла, так что желание мое не сбылось. А загадывала я, чтобы всегда было так, как сейчас: жизнь — праздник в мою честь.

Кароли купила мне зеркальце для косметички, а Оуэн и Питер подарили ящерицу в банке с ленточкой. От Дейви я получила большой лист картона, на котором он лентой приклеил помет разных животных и рядом отпечатанные на ксероксе образцы их следов с аккуратными надписями. Старр презентовала зеленый тянущийся свитер, а соцработник вручил набор заколок для волос со стразами.

Последним я открыла подарок Рэя. Осторожно развернула бумагу и увидела резное дерево с мозаичным лунным цветком ар-нуво, как на обложке первой маминой книги. Шкатулка для драгоценностей. Пахло свежей стружкой. Я провела пальцами по цветку, представляя, как Рэй вырезал сложные детали, подгонял их так тщательно, что совершенно не заметны стыки. Наверное, мастерил по ночам, когда я спала. Я боялась показать, как сильно она мне понравилась, и просто сказала «спасибо». Надеялась, что он сам все поймет.

Начались дожди, и двор превратился в глубокое месиво. Река поднялась. На месте сухой земли с валунами и чапаррелем по широченному руслу несся грязный поток цвета кофе с молоком. Часть обожженных горных склонов с гулом обвалилась. Я и не представляла, что может так лить! Мы только и делали, что подставляли под дыры в потолке кастрюли, коробки и банки, выплескивая накапавшее во двор.

После семилетней засухи долгожданный дождь выдали оптом. Лило без передыха все рождественские праздники. Мы томились в трейлере. Мальчишки играли с нинтендо и в дорожные гонки и в сотый раз смотрели двухсерийный фильм «Нэшнл джиографик» про торнадо.

Я целыми днями качалась на качелях на веранде, смотрела на пелену дождя и слушала, как барабанит вода по металлической крыше, как стекает к реке, где переворачиваются валуны, с корнем вырываются деревья и плывут, сталкиваясь, точно кегли для боулинга. Все приобрело бледный серовато-коричневый оттенок, как старая фотография.

Когда краски блекли и мне было одиноко, я вспоминала Христа. Он знает, о чем я думаю, знает все. Хотя я Его не вижу и не чувствую, Он позаботится, чтобы я не упала, чтобы меня не смыло потоком. Иногда я раскладывала Таро, но там не было ничего нового — те же Мечи, Луна, Повешенный и горящая Башня с короной и падающими людьми. Иногда, когда Рэй оставался дома, мы играли в шахматы. Он курил травку или учил меня в сарае за верстаком мастерить простенькие поделки вроде скворечника или рамки для фотографий. Иногда разговаривали на веранде под аккомпанемент приглушенных дождем звуковых эффектов видеоигр, «Двойного дракона» и «Заксон». Рэй облокачивался о столб веранды, а я устраивалась на диване-качалке.

Однажды он вышел и долго курил трубку, прислонившись плечом к столбу и хмуро глядя

куда-то в сторону. Он был не в духе.

— Думаешь иногда об отце? — спросил Рэй.

— Я его не помню. Мне было два, когда он ушел. Или мама его бросила. Не знаю.

— Она тебе о нем рассказывала?

Мой отец — силуэт, образ, сотканный из неизвестности, фигура из дождя.

— Если я спрашивала, она говорила: «У тебя не было отца. Я твой отец, ты выскочила у меня изо лба, как Афина».

Рэй грустно рассмеялся.

— Ну и характер!

— Однажды я наткнулась на свое свидетельство о рождении. Отец: Андерс, Клаус; второго имени нет; место рождения — Копенгаген, Дания; проживает в Венис-Бич, Калифорния. Ему сейчас, наверное, пятьдесят четыре.

Больше, чем Рэю.

Грянул гром, хотя из-за туч молнии видно не было. Диван поскрипывал, а я думала об отце, Клаусе Андерсе, без второго имени. Я как-то нашла его полароидную фотографию в маминой книге «Ветру навстречу». Они сидели рядом в кафе у океана вместе с целой компанией, и у всех был такой вид, словно они только что с пляжа — загорелые, длинноволосые, в бусах. На столе пивные бутылки. Клаус положил руку на спинку маминого стула, небрежно и властно. Они вдвоем сидели в солнечном пятне, распространяя вокруг себя ауру красоты. Похожи, как брат с сестрой. Блондин с львиной гривой и чувственными губами широко улыбался, и уголки его глаз были приподняты. Ни мама, ни я так не улыбались.

Этим фото и свидетельством о рождении ограничивалось все, что мне от него досталось. Ну и еще знаком вопроса в моем генетическом коде.

— Чаще всего я гадаю: интересно, что он думает про меня?

Мы смотрели на коричневатое перечное дерево, густую, как память, жижу во дворе. Рэй повернулся, оперся о столб спиной и закинул руки за голову. Рубашка задралась, обнажая волосатый живот.

— Скорее всего, думает, что тебе все еще два годика. Как я про Сета. Когда мальчишки играют у реки, представляю его с ними. Не сразу вспоминаю, что из лягушек он уже вырос.

Клаус представляет меня двухлетней! Белые перышки волос, перепачканный песком подгузник. Не понимает, что я выросла! Я могу пройти мимо, и он даже посмотрит на меня, как Рэй, и никогда не узнает, что я его дочь. Я вздрогнула, натянула на пальцы рукава свитера.

— Не хочешь его найти, позвонить?

Рэй покачал головой:

— Скорее всего, он меня ненавидит. Мамаша понарассказывала с три короба.

— Все равно он скучает. Я совсем не помню Клауса, но скучаю. Он тоже был художник, живописец. Наверное, он бы мной гордился.

— Да, гордился бы. Может, когда-нибудь пересечетесь.

— Порой я думаю: вот стану художницей, и он прочтет обо мне в газете и увидит, что из меня вышло. Встречаю какого-нибудь блондина средних лет, и хочется крикнуть вслед: «Клаус!». Вдруг повернет голову…

Я снова качнула ногой, и диван скрипнул.

Мама как-то сказала, что выбрала его из-за схожей внешности, как будто она сама себе

зачала ребенка. Правда, в красной тибетской записной книжице с оранжевым переплетом сохранилась другая история:

Венис-Бич, 12 июля 1972

Наткнулась в книжном на К. Увидела его первая. Дрожь по телу. Сутуловатые широкие плечи, капельки краски в волосах, заношенная до дыр рубашка, такая древняя, что одежда только по названию. Хотелось, чтобы он сам меня заметил, поэтому отвернулась, листая брошюрку о мировой закулисе. Я знала, как смотрюсь на фоне окна: волосы пылают на солнце, платье почти прозрачное. Ждала, когда он увидит меня и сердце замрет у него в груди.

Рэй вглядывался в дождь, и я поняла, что чувствовала мама. Мне нравился дым его трубки, его запах, печальные карие глаза. Он не был мне отцом, но мы хотя бы болтали вот так на веранде. Он снова закурил, закашлялся.

— А может, тебя ждет разочарование, и он скотина. Почти все мужики скоты.

Я качалась, понимая, что это неправда.

— Ты — нет.

— Спроси мою жену!

— Что это вы здесь делаете? — Старр в пушистом и желтом, как цыпленок, самодельном свитере с шумом хлопнула сетчатой дверью. — На эту вечеринку вход свободный?

— Скоро взорву к черту телевизор, — ровно отозвался Рэй.

Она принялась обрывать сухие коричневые метелки паучника над головой и бросать их с веранды. Грудь выпирала из клиновидного выреза блузки.

— Только глянь, куришь в присутствии детей! Всегда знала, что ты дурно на них влияешь, — сказала она с улыбкой, мягко и кокетливо. — Рэй, детка, будь другом, смотайся в магазин, купи сигарет, а то у меня кончились.

— Ладно, все равно за пивом надо. Ты со мной, Астрид?

Улыбка Старр на мгновение исчезла, словно пружина растянулась до предела и отскочила.

— Ты и один управишься, ты у нас большой мальчик, а Астрид мне тут кое с чем поможет. — Она один за другим обрывала сухие листья с паучками.

Рэй накрыл курткой голову и нырнул под водопад, льющийся с рифленой стальной крыши.

— Поговорим, мисси, — начала Старр, когда Рэй захлопнул дверцу и завел мотор.

Я нехотя последовала за ней в дом. Старр никогда с детьми не разговаривала. В темной спальне пахло немытыми взрослыми телами, мужским и женским. Спертый земляной запах. Кровать разобрана. В детской никогда так не пахнет, сколько бы детей там ни жили. Хотелось открыть окно.

Старр села на незаправленную постель, потянулась за пачкой «Бенсон энд Хеджес», вспомнила, что она пуста, отшвырнула.

— Ну как, обвыклась у нас? — Пошарила в ящике тумбочки. — Живешь, как дома. Неплохо устроилась, да?

Я водила пальцем по цветку мака на простыни. Пальцы пробежали по венчику, тычинкам в середине. Маки, символ маминой погибели.

— Я бы даже сказала, чертовски хорошо! — Старр с силой задвинула ящик, отчего звякнуло кольцо на ручке, и потянула вверх одеяло, чтобы скрыть от меня цветок. — Я хоть и проницательностью не отличаюсь, а тебя вижу насквозь! Рыбак рыбака… Ты уж мне поверь!

— Видишь что? — Я была озадачена, какое сходство она между нами нашла.

— Бегаешь за моим мужиком! — Она взяла из клетчатой пепельницы окурок, распрямила его и зажгла.

Я не выдержала и рассмеялась.

— Ни за кем я не бегаю!

Вот, значит, она о чем: бумс-бумс кровать о стену и «Боже всемогущий!».

— Крутишься вокруг него, в «инструментах» копаешься… «А это для чего, дядя Рэй?» Оружие трогаешь! Что я, не видела вас вдвоем? Все уже спят, а эти голубки сядут рядышком! — Она выпустила в спертый влажный воздух кольцо затхлого дыма.

— Он же старый! Мы ничего плохого не делаем.

— Старый, да не очень! Он мужик, мисси. Видит то, что видит, и делает, что может. В общем, рассусоливать некогда — он сейчас вернется. Просто хочу тебе сказать, что я звоню, куда надо, и твоя игра закончена, Синеглазка. Уедешь — и поминай, как звали!

Я ошарашенно смотрела на ее пушистые ресницы. Как можно быть такой злюкой?! Я ничего не сделала! Да, я его люблю, но это выше моих сил. Я и ее люблю, и Дейви, да всех их. Это нечестно! Она шутит…

Я запротестовала, но она подняла руку с тлеющим бычком между пальцев.

— Зря стараешься. У меня в кои-то веки жизнь наладилась. Рэй добрый, лучший из всех, кто у меня был. Может, ты и не подбивала к нему клинья, мисси, но я нюхом чую С-Е-К-С и рисковать не собираюсь. Не в моем возрасте и не в моем положении все терять.

Я сидела в душной комнате, ловила ртом воздух, точно рыба, вытащенная из воды, а по металлической крыше и стенам барабанил дождь. Вышвыривает меня ни за что ни про что! Могучий океан грозил вот-вот смыть меня с крошечного утеса. До слуха доносился гул реки, увлекающей за собой тонны мусора. Я пыталась придумать объяснение, которое ее урезонит.

— У меня никогда не было отца…

— Не начинай. — Старр смяла сигарету в пепельнице, оглядела пальцы. — У меня двое детей и своя жизнь. Мы с тобой едва знакомы, я ничего тебе не должна.

Она бросила взгляд на пушистый свитер и стряхнула с полной груди пепел.

Я не дала никакого повода для подозрений. Несправедливо, не по-христиански!

— Как же милосердие? — Я, точно падающий с дерева, хваталась за сук. — Христос дал бы мне шанс!

Она встала.

— Я не Христос, даже близко не Христос.

Я сидела на постели и молилась голосу дождя. Иисус, пожалуйста, не дай ей этого сделать! Если ты все видишь, смягчи ее сердце! Пожалуйста, останови ее!

— Прости. Ты хорошая девочка, но такова жизнь.

Единственным ответом был дождь, тишина и слезы. Я вспомнила мать. Как бы она поступила на моем месте? Не колебалась бы, не остановилась бы ни перед чем, чтобы получить желаемое! Я ощутила, как пустота внутри заполняется, и в позвоночнике возникает гибкий стальной стержень. Я знала, что это новое упрямство, воля — от лукавого, но как есть, так есть. Внезапно я увидела нас на гигантской шахматной доске и поняла свой следующий ход.

— Он взбесится, если поймет, что ты отослала меня из ревности! Ты об этом подумала?

Старр запнулась на полпути к двери и странно на меня посмотрела, словно увидев впервые. Удивительно, каким потоком лились слова — из меня, известной молчуньи!

— Мужчины не любят ревнивых, а ты хочешь посадить его в клетку. Он тебя возненавидит! Может, вовсе бросит!

Я с удовольствием отметила, как она вздрогнула. Внутри, там, где раньше ничего не было, зародилась сила.

Старр потянула свитер вниз, отчего сильнее обозначились груди, и засмеялась.

— Что ты знаешь о мужчинах, цыпленок!

Но я уже посеяла сомнение.

— Я знаю, что они не любят собственниц! Они их бросают!

Старр все еще маячила перед зеркалом — решала, избавиться ли от меня побыстрее или слушать дальше, позволяя бередить себе душу. Взяла из пепельницы короткий окурок и закурила от пластмассовой бирюзовой зажигалки.

— Тем более что ничего не было! Мне нравишься ты, он, дети, я бы никогда не стала все портить. Неужели ты не понимаешь?

Чем больше я говорила, тем меньше это было правдой. Ангелочек на письменном столе смотрел с укоризной и ужасом. Дождь стучал по крыше.

— Поклянись, что он тебе не нужен! — произнесла Старр, щурясь сквозь вонючий дым, и схватила с тумбочки белую Библию в кожаной обложке, с красными ленточками закладок и золотым обрезом. — Клянись!

Я положила руку на книгу, как на телефонный справочник. Мне было совершенно все равно.

— Богом клянусь!

Она так никуда и не позвонила, однако следила за каждым моим шагом, каждым жестом. С непривычки я чувствовала себя важной персоной. В ее спальне с меня как будто сняли верхний слой и обнажили сияние.

Однажды она задержалась с ужином, и когда мы заканчивали, дядя Рэй кинул взгляд на часы:

— Смотри — опоздаешь!

Старр вновь потянулась за кофейником и налила себе чашку:

— Как-нибудь переживут один вечер без меня, правда, малыш?

Дальше она пропустила еще две встречи, а неделю спустя не пошла в церковь. Вместо этого они все утро занимались любовью, а когда наконец встали, она повезла нас в семейное кафе, где мы в большой угловой кабинке завтракали шоколадными блинчиками и вафлями со взбитыми сливками. Все весело смеялись, а я не видела ничего, кроме искусственной кожи сиденья и руки Рэя у Старр на плече. Странное ощущение… Я без всякого аппетита вяло возила вафлей по тарелке.

Дожди закончились, и в умытом небе по ночам зажигались звезды.

Мы с мальчишками стояли в самом темном углу чавкающего глиной двора и слушали, как за деревьями шумит река. На ботинки комьями налипла грязь, изо рта шел пар. Я вытянула шею, стараясь найти на небе Медведиц и другие созвездия. В книгах Дейви столько звезд не было, и я запуталась.

Показалось, что по небу чиркнул лучик. Я не мигая смотрела вверх.

— Вон! — указал Дейви.

С другой стороны сорвалась еще одна звезда. Жутковато — мы не привыкли к летающим звездам. Я старалась не моргать и ничего не пропустить. Распахнула глаза, чтобы свет проявлялся на них, как на фотографии.

Малыши дрожали, несмотря на куртки поверх пижам и сапоги. Они болтали и хихикали от холода и радости, что можно не спать так поздно. Звезды летали, как шарики в пинболе, и мелюзга раскрыла рты — вдруг поймают. Было совсем темно, если не считать рождественской гирлянды, которая мигала на крыльце.

Хлопнула сетчатая дверь. Я и не оглядываясь знала, что это он. Вспышка спички, теплый приторный запах травки.

— Все никак не сниму эту иллюминацию, — проворчал он и подошел.

Янтарное мерцание сигареты, четкие контуры фигуры, запах стружки.

— Квадрантиды, — пояснил Дейви. — Скоро будут падать штук по сорок в час. Это самый короткий метеоритный дождь, но самый плотный, если не считать Персеид.

Рэй пошевелился, у него под ногами чавкала грязь. К счастью, в темноте он не видел краски удовольствия у меня на лице: он рядом и смотрит в небо, как будто ему есть какое-то дело до Квадрантид, как будто ради них он вышел…

— Вон! — крикнул Оуэн. — Видел, дядя Рэй? Видел?

— Да, дружище.

Впервые он стоял так близко. Его рука была в каком-нибудь дюйме. Я ощущала его тепло.

— Вы со Старр поцапались? — тихо спросил он.

Я выдохнула облачко пара, представляя, что курю, как Дитрих в «Голубом ангеле».

— А что она сказала?

— Ничего. Просто какая-то странная в последнее время.

Звезды срывались с неба и сгорали в пустоте. Просто так, ради удовольствия. Хотелось вобрать в себя эту ночь целиком.

Рэй сильно затянулся, закашлялся, сплюнул.

— Нелегко, наверно, стареть. Да еще с молодыми красотками в доме.

Я подняла глаза в небо, как будто не расслышала, хотя на самом деле жаждала продолжения про красоток, в то же время смущаясь своего низменного желания. И что значит красотка? Я в связи с матерью много думала о красоте. Не нужно быть красивым — нужно только, чтобы тебя любили. И все равно я хотела красоты. Если за нее любят, то я согласна и на красоту.

— Она все еще ничего, — отозвалась я, думая, что ей было бы легче, если бы он не шел за мной в эту звездную ночь, не смотрел бы так на меня, касаясь пальцами рта.

И все же я не хотела, чтобы он останавливался. Мне было не слишком жаль Старр, я уже подхватила вирус греха. Я была центром собственной вселенной, а вокруг, меняясь местами, двигались звезды. Мне нравилось, как он на меня смотрит. Кто когда вообще на меня смотрел? Кто хоть раз заметил? Если это дурно, пусть Господь уберет эти мысли.

Дорогая Астрид!

Прекрати рассказывать, как ты им восхищаешься и какой он добрый! Не знаю, что хуже: твое увлечение христианством или явление этого престарелого кавалера. Тебе нужен

мальчик твоего возраста, нежный и красивый, который будет трепетать от твоего прикосновения и, опустив глаза, протянет тебе хризантему на длинном стебле. Мальчик, чьи пальцы — поэзия. Никогда не ложись под папиков. Я запрещаю, слышишь?

Мама.

Ты не могла мне помешать, мама. Я больше не обязана была тебя слушаться.

Весна усеяла холмы калифорнийскими маками, усыпала трещины в асфальте на заправках и парковках синим люпином и кастиллеей. Даже на выгоревших участках перевалы густо заросли желтой горчицей.

Мы тряслись в стареньком пикапе Рэя.

Я говорила, что хочу посмотреть на его работу в Ланкастере, где он делал на заказ мебель. Не мог бы он как-нибудь свозить меня туда после школы? «Ты же знаешь, какая Старр в последнее время странная», — добавила я. Каждый день, выходя из школы, я надеялась увидеть его машину с цветным перышком на зеркале. И вот наконец он приехал.

Район новой застройки оказался лысым, как шрам, с перерытыми пыльными улицами и большими новыми домами. Кое-где стояли готовые коробки под крышей, стены других были обмотаны теплоизоляционным материалом, у некоторых торчал только каркас. Рэй повел меня по дому, в котором работал, чистому, законченному снаружи, пахнущему свежей стружкой. Показал прочные кленовые шкафчики на большой кухне, эркерное окно, встроенные книжные полки, беседку на заднем дворе. Мои волосы вспыхивали на свету, и я понимала, как давным-давно, в книжном магазине, чувствовала себя мама, когда заметила отца и остановилась у окна, ослепительная в солнечных лучах.

Я позволила ему водить себя по дому, точно он агент по недвижимости: двухъярусное панорамное окно в гостиной, ультрасовременные унитазы в двух ванных и туалете, изогнутая лестница, резная первая балясина.

— Когда был женат, жил в таком вот доме, — сказал он, с силой проводя рукой по массивной стойке перил.

Я тщетно пыталась представить его в доме с двумя ванными и туалетом, обеденным столом на шестерых, постоянной работой, женой и ребенком. В любом случае он все равно пропадал в ночном клубе и крутил романы со стриптизершами.

Поднялась за ним наверх, осмотрела отделанные кедром шкафы для одежды и банкетки у окна. В хозяйской спальне слышался стук молотка из соседних домов и рев бульдозера, который расчищал участок для очередной стройки. Рэй глядел в перепачканное окно. Я представила, какой станет комната, когда въедут жильцы: сиреневые ковры, синие розы на покрывале, бело-золотой двойной комод и высокая спинка кровати. Мне больше нравилось, как сейчас, — розовое дерево, сладкий запах стружки. Я рассматривала коричневые и зеленые клетки его шерстяной рубахи, руки, упертые в раму. Он смотрел вниз на голый двор.

— О чем ты думаешь?

— Они не будут счастливы, — тихо отозвался он.

— Кто?

— Будущие жильцы. Я строю дома для тех, кто не будет здесь счастлив.

Доброе лицо стало печально.

Я подошла ближе.

— Почему?

Он прижался лбом к стеклу, с которого еще не сняли наклейку.

— Потому что все неправильно. Они не хотят никого обидеть…

Я чувствовала запах пота, резкий и сильный, — запах мужчины. В комнате с новыми окнами было жарко, аромат свежего дерева кружил голову. Я обняла его за пояс, прижалась лицом к колючей шерстяной материи между лопатками — мечтала об этом с самого первого воскресенья, когда прогуляла церковь, и он меня обнял. Закрыв глаза, вдыхала аромат травки, пота и стружки. Он не шевельнулся, только судорожно вздохнул:

— Ты еще ребенок.

— Я рыбка, проплывающая мимо, Рэй, — прошептала я ему в шею. — Поймай, если хочешь.

Секунду он стоял, как арестованный с поднятыми руками. Потом взял мои ладони, поцеловал, прижал к лицу. Из нас двоих трепетала я — я и моя хризантема.

Он повернулся и обнял меня именно так, как мне всегда, всю жизнь, хотелось, — сильные руки и широкая грудь в шерстяной рубахе, пахнущая табаком и травкой. Я подняла лицо для своего первого поцелуя, разомкнула губы, чтобы он попробовал меня на вкус. Стоило только ему чуть ослабить объятие, меня начинало трясти.

Рэй мягко отстранился:

— Поедем лучше домой. Это неправильно.

Плевать я хотела! В кармане у меня был презерватив из ящика Кароли, а передо мной — мужчина моей мечты, и нам никто не помешает.

Я швырнула на пол свою рубаху, стащила футболку, расстегнула лифчик. Худенькая и очень бледная — не Старр, а я, и все, что у меня есть. Расшнуровала ботинки, спустила джинсы.

Рэй прислонился к грязному окну и смотрел печально, как будто кто-то умирает:

— Я этого не хотел.

— Врешь!

Он опустился передо мной на колени, обхватил руками бедра, ноги. Сжал голые ягодицы, погладил пальцами шелковистое влажное место между ног, потянулся туда ртом. Я опустилась на колени, ощутила мой запах у него на губах, провела ладонями по его телу, расстегнула одежду, нащупала внизу это — больше и тверже, чем представляла. И подумала, что Бога нет — только мои желания!

Глава 8

Весь день в школе, вечерами у реки, за ужином со Старр и детьми или перед телевизором Рэй был моей единственной мыслью, моим наваждением. Какая удивительно мягкая у него кожа, как мускулисты руки, оплетенные жилами, точно корнями! Как печально он посмотрел, когда я скинула одежду…

Я рисовала его голым у окна или на рулонах коврового покрытия в углу новой спальни. В дни наших встреч мы лежали на этих рулонах, сплетя ноги, гладкие и волосатые. Его пальцы накрывали мою грудь и играли соском, который сжимался, становясь похожим на ластик на кончике карандаша. Я прятала рисунки в ящике под маминными журналами, куда Старр не пришло бы в голову заглядывать. Понимала, что надо их выбросить, но все никак не решалась.

— Почему ты живешь со Старр? — спросила я однажды, водя пальцем по белому шраму от вьетконговской пули у него под ребрами.

Он коснулся моего бока. По коже пошли мурашки.

— Она единственная женщина, которая не пытается меня менять.

— Я бы тоже не пыталась… Она хорошая любовница?

— Не будем о личном. — Он плотнее прижал мою руку, под ней твердело. — С одной женщиной не говорят о другой. Дурной тон.

Провел рукой по влажному шелку у меня между бедер и облизал палец. Вот что значит быть желанной — нет ничего невозможного! Он посадил меня сверху, и, наклонив лоб к его груди, я понеслась вскачь, словно кобылица по прибою через россыпи сверкающих брызг. Интересно, будь мама на свободе, меня сейчас увлекал бы к звездам один из ее любовников? А она глядела бы на меня, как Старр, осознав, что я больше не прозрачная обложка для энциклопедии?

Нет, будь она рядом, меня бы здесь не было! Она бы ни за что не позволила — все хорошее она приберегала для себя.

— Я люблю тебя, Рэй!

— Ш-ш-ш… — Он сжал мне бедра, его веки подрагивали. — Ничего не говори.

И я скакала в рассвет через водяные звонкие брызги по фосфоресцирующему приливу с морскими звездами.

Раздражение Старр выплескивалось через край, в основном на детей. Она срывалась на дочь. Кароли почти не бывала дома, по вечерам гоняла на мотоцикле с Дерриком. Рев мотора звучал, как изводящее душу сомнение. Когда мы не встречались с Рэем, я задерживалась в школе, шла в библиотеку или охотилась с мальчиками на лягушек у ручейков и грязных лужиц, оставшихся после зимних ливней. Лягушки сливались с грязью, и чтобы их заметить, надо было сидеть очень тихо. Чаще всего я устраивалась на теплом от солнца валуне и рисовала.

Однажды я вернулась с реки и обнаружила Старр на качелях, с бигудями в волосах, в синей блузке, затянутой в тугой узел под грудью, и коротеньких измятых шортах. Она дразнила прутиком котят, которых весной принесла под домом кошка. Смеялась и беседовала с ними, что на нее было совсем не похоже, — обычно она называла их лохматыми крысами.

— Ну, мадам художница, подойди, поговорим! А то я со скуки уже разговариваю с котами.

Никогда раньше она не выказывала желания поговорить. В уголках рта затаилась какая-то невысказанность. Она отдала мне прутик с лентами и достала из пачки сигарету. Сунула не тем концом в рот. Я с интересом наблюдала, что будет дальше. Старр опомнилась в последний момент.

— Совсем уже мышей не ловлю, — пошутила она и отхлебнула кофе.

Я вела лентой по ковру, выманивая серо-белого пушистика из-под качелей. Он подпрыгнул, бросился на прутик и тут же отскочил.

— Так поговори со мной!

Она сильно затянулась и, откинув голову, выпустила длинную струю дыма. Оголилась красивая шея. Голова в бигуди казалась огромной, точно шапка одуванчика.

— Раньше мы все время болтали, а теперь все так чертовски заняты — свихнуться можно! Кароли не видела?

Вдали уходили в ясное голубое небо столбы пыли от мотоциклов. Мне хотелось самой стать пылью, дымом, ветром, солнечным светом над чапаррелем — чем угодно, лишь бы не разговаривать с женщиной, у которой я краду мужчину.

— Кароли на дурной дорожке. — Старр вытянула ногу, изучая серебристый лак на ногтях. — Держись от нее подальше. Придется поговорить с девчонкой, остановить ее падение. Ей не помешает хорошая доза Слова Божьего! — Она сняла бигуди с одной пряди, скосила глаза кверху, принялась за остальные, складывая их на колени. — Ты у нас хорошая девочка, я раскаиваюсь. Аминь. Где Кароли? Ты ее видела?

— Кажется, с Дерриком. — Я подергала прутиком у дивана-качалки, под которым прятался котенок.

Старр наклонила голову вперед, чтобы снять бигуди на затылке.

— Нашла кого выбрать из всей белой швали… Мамаша глупа, как пробка, полуфабрикаты в духовку сует прямо в упаковке!

Она засмеялась, уронила бигуди, и котенок, показавшийся было из-под дивана, моментально спрятался.

Тут до меня дошло, что она пьяна. Она держалась уже полтора года, носила на брелоке с ключами медальки анонимных алкоголиков: красную, желтую, синюю и фиолетовую, — и очень ими гордилась. Я, правда, никак не могла понять, зачем оно надо. Рэй пил, мама пила, Майкл брался за бутылку в полдень, как только заканчивал запись очередного рассказа, и не выпускал ее из рук до глубокой ночи. Вреда, судя по всему, не было никакого. Если на то пошло, теперь Старр даже повеселела. Зачем мучиться и изображать из себя святую, когда это совсем не твое?

— Он от меня шалеет — я про Рэя… Мужик, которому нужна настоящая баба. — Она повела бедрами в тесных шортах, как будто на нем сидела. — Его жена ничего не разрешала. — Снова затянулась, опустив накрашенные ресницы, вспоминая. — Рэй на стену лез. Я ее видела раз, жену эту. — Отпила из кофейной чашки, и я уловила запах спиртного. — Фифа в скромненьких туфельках! В рот не брала и вообще ничего такого. Он заявлялся в клуб и грустно смотрел на нас, как голодный в супермаркете.

Старр расправила плечи и перекатила их вперед, изображая, на что смотрел Рэй. Крестик в ложбинке между грудей потонул в пышной плоти. Засмеялась. Пепел посыпался на пятнистого котенка.

— Как было не влюбиться!

Мне стало неловко от мысли, что Рэй в стрип-клубе пялился на девок с огромными сиськами. Наверное, просто не знал, куда пойти. Я опять взяла прутик и пошелестела лентами, дразня котенка, чтобы Старр не заметила краску у меня на щеках.

— Я совсем спятила, если думала, что между вами… Поглядеть на тебя — ты же совсем цыпленок. Лифчик — и тот не носила! — Она отхлебнула и со стуком поставила пустую чашку на мозаичный стол.

Убеждала себя, что между Рэем и мной ничего нет и быть не может, потому что она женщина, а я — ничто. Но я хорошо помнила, как он стоял передо мной на коленях, сжимал мне с силой ноги, целовал живот. Помнила, как пахла стружка и как мы вспыхивали, точно смолистый чапаррель в сезон олеандров.

Полная луна струила белый свет сквозь занавески. В кухне заурчал холодильник, посыпались кубики льда.

— Сорвалась после стольких месяцев? — переспросила Кароли. — С ума сойти!.. Никогда не верь алкоголикам, Астрид. Правило номер один, два и три.

Она стянула на кровати ночнушку, надела белую мини-юбку, колготки и блестящий топ. Взобралась на комод, держа туфли на каблуках в руке, и спрыгнула на крыльцо.

— Куда это ты намылилась, мисси? — раздался из темноты голос Старр.

— Тебе не все равно?

Я подошла к окну. Кароли вызывающе уперла руки в крутые бедра.

— Даешь каждому встречному и поперечному? — осведомилась Старр, видимо, из садового кресла под окнами большой комнаты. Она уже порядком нагрузилась.

Кароли не спеша надела одну туфлю, другую и вышла в залитый лунным светом двор, точно на сцену.

— А даже если и так!

Мне захотелось нарисовать ее широкие плечи и тень от них на белесой пыли. Какая храбрая!

Старр, однако, еще не закончила:

— Про тебя уже треплют языками: «Иди к Кароли, она дает без денег». Шлюхам полагается платить, ты что, не знаешь?

— Тебе виднее! — Кароли направилась к дороге.

В поле зрения показалась Старр. Она, шатаясь, спустилась по ступеням в коротенькой ночнушке и залепила Кароли звонкую оплеуху. Звук пощечины непоправимо зазвенел в ночи.

Кароли замахнулась и врезала в ответ. Голова Старр дернулась. Сцена была отвратительной, но захватывающей, как в кино.

На ступенях появился Рэй в джинсах на голое, так мною любимое тело. Кароли повалила Старр на землю. Та смотрела снизу вверх на ее ноги в колготках и туфлях на высоком каблуке. Что дальше? Сможет ли дочь пнуть мать в лицо? Видно было, что ей хотелось.

Я вздохнула с облегчением, когда Рэй вмешался и помог Старр встать.

— Идем спать, детка.

— Вонючая алкоголичка! — проорала вслед Кароли. — Ненавижу!

— Ну и сгинь! — отозвалась, неуверенно шагая, Старр. — Вали отсюда! Кому ты нужна…

— Не горячись, — перебил Рэй, — утро вечера мудренее.

— И уйду, — отозвалась Кароли. — Еще как уйду!

— Только имей в виду — назад дороги нет!

— Да на фига сюда возвращаться?!

Дверь в комнату со стуком распахнулась. Кароли выдвигала ящики, сваливала одежду на постель, запихивала ее в цветастый чемодан.

— Пока, Астрид! На этот раз правда ухожу.

Дейви с малышами испуганно стояли в коридоре, моргая со сна.

— Останься! — взмолился Дейви.

— Не могу жить в этом дурдоме.

Кароли быстро обняла его одной рукой и вышла, волоча чемодан, который бил по коленке. Не глядя прошла на каблуках во двор мимо Рэя и Старр и решительно зашагала по дороге.

Я долго смотрела вслед, запоминая ее плечи, длинные ноги, походку. Вот как уходят девушки! Они собирают чемодан и покидают дом на высоких каблуках. Прячут слезы, как будто это не самый ужасный день в их жизни, как будто не мечтают, чтобы мать выбежала и умоляла простить. Как будто они сами не встали бы на колени, благодаря Бога, что могут остаться.

После ухода дочери Старр утратила что-то важное и незаменимое, как гироскоп, который не позволяет самолету перевернуться, или глубиномер, показывающий, погружаешься ты или всплываешь. Она то вдруг шла танцевать в клуб, то сидела дома, пила и жаловалась, то впадала в слащавую сентиментальность и хотела, чтобы мы были настоящей семьей, играла с детьми в игры и пекла шоколадные пирожные, которые вечно подгорали. Никогда нельзя было угадать, что тебя ждет на сей раз. Однажды за ужином Питер не стал есть запеканку, и Старр вывернула тарелку ему на голову. Я знала, что причина — мой грех, и принимала все, не говоря ни слова.

Если бы только я не начала тогда с Рэем! Я та самая змея подколодная…

Однако простое понимание не останавливало, я была заражена вирусом. Мы с Рэем занимались любовью в строящихся домах, в мастерской за гаражом, иногда даже в сухом русле реки между валунов. Старались не оказываться вместе в одной комнате при Старр, потому что между нами летали разряды.

Старр орала на мальчишек за бардак в комнате, разбросанные пластмассовые ящерицы, лего и макет Дейви. Он сделал поразительно точную миниатюрную копию гор Васкес-Рокс. Во время школьной экскурсии нашел окаменелых трилобитов кембрийского периода и ракушку туррителла. Старр расшвыряла игрушки с конструктором, направилась к Дейви и в два счета растоптала его работу.

— Я говорила тебе убрать это дерьмо!

Малыши сбежали на улицу, а Дейви опустился на колени около загубленного макета, трогая раздавленные ракушки.

— Ненавижу тебя! — выкрикнул он. — Ты все портишь! Ты даже не способна понять, что…

Старр схватила его за руку, чтобы не вырвался, и начала лупить.

— Значит, я дура?! Погруби еще! У меня не четыре руки, я не могу все делать сама! Я

тебе покажу, как с матерью разговаривать!

Шлепки перешли в побои. Малыши убежали, а я не могла — я была всему причиной.

— Старр, хватит! — попробовала ее оттянуть.

— Заткнись! — взвизгнула она и сбросила мою руку. Ее волосы упали на лицо, глаза вокруг зрачков побелели. — Кто-кто, а ты заткнись!

Наконец она побрела прочь, закрыв лицо руками и плача. Дейви сидел рядом с макетом, по его щекам катились слезы. Я опустилась на корточки — посмотреть, нельзя ли поправить дело.

Старр отвинтила крышку виски, который завела обыкновение держать в шкафчике среди хлопьев для завтрака, налила стакан и бросила кубики льда. Теперь она без стеснения пила прямо при нас.

— Не смей так разговаривать, поганец, — повторила она, вытирая глаза и рот.

Дейви держал руку под странным углом.

— Болит? — тихо спросила я.

Он кивнул, не глядя в глаза. Знает? Или догадывается?

Выдохшись после драки, Старр сгорбилась на кухонном стуле и угрюмо тянула виски. Достала из золотистой пачки сигарету, закурила.

— Кажется, вывих, — прошептал Дейви.

— Ноет-ноет… Иди с глаз моих!

Дейви никогда не ныл, но сейчас его рот кривился. Я набросала в пакет лед, приложила к плечу. Кажется, дело серьезно.

— Ему надо в больницу, — осторожно произнесла я, стараясь изгнать из голоса осуждающие нотки.

— Мне нельзя за руль, сама отвези. — Она порылась в сумочке и кинула ключи. Забыла, что мне четырнадцать.

— Позвони дяде Рэю!

— Нет.

— Мама! — Дейви уже всхлипывал. — Помоги мне!

Старр посмотрела на него и наконец увидела, как он придерживает у локтя руку.

— Господи!

Бросилась к Дейви, по пути ударившись голенью о кофейный столик, и села на корточки.

— О, прости! Мамочка не хотела!

Чем дальше, тем больше она расстраивалась, из носа у нее потекло. Движения были резки и бессмысленны. Дейви отвернулся.

Она обхватила руками живот, скорчилась на полу у дивана, принялась раскачиваться и бить себя по лбу кулаком.

— Господи, что делать, что делать?!

— Я звоню дяде Рэю.

Дейви продиктовал номер, и я позвонила Рэю на работу. Полчаса спустя он приехал. Губы сжаты в тонкую линию.

— Я нечаянно… — Старр протянула вперед руки, точно оперная певица. — Несчастный случай. Поверь!

Никто ей не ответил.

Старр монотонно всхлипывала, а мы повезли Дейви в травмпункт, где ему вправили и

зафиксировали плечо. Мы выдумали историю, как он играл у реки и неудачно спрыгнул с камня. Даже мне она казалась идиотской, но Дейви взял с нас слово, что мы не выдадим Старр. Даже после всего случившегося он по-прежнему ее любил.

Пасха. Прозрачное, как хрусталь, утро, когда различаешь каждый кустик и валун на горе. Воздух так чист, что трудно дышать.

Старр готовила окорок, запихивая гвоздику в маленькие разрезы. Она каждый день посещала собрания анонимных алкоголиков и не пила уже две недели. Мы старались изо всех сил, глядя на перевязанную руку Дейви.

Старр поставила окорок в духовку, и мы все, даже дядя Рэй, поехали в церковь. Правда, он на минуту задержался у машины, чтобы покурить травку; когда он сел между Оуэном и Старр, я почувствовала запах.

Я хотела помолиться и снова ощутить присутствие высшей силы, которая обо мне заботится, но ни в этой церкви из шлакобетона, ни в руинах своей души больше ничего не находила. Старр подалась вперед, глядя на поникшего Христа на кресте персикового дерева, дядя Рэй чистил ногти армейским ножом, а я ждала, когда начнут петь.

Потом мы остановились на заправке, и дядя Рэй купил ей белую лилию, символ новой жизни.

Дома все пахло окороком. Старр накрыла стол: суп-пюре из кукурузы, консервированные кольца ананаса и булочки из супермаркета. Мы с Рэем не смели взглянуть друг на друга. Ковырялись в тарелке, хвалили Старр за обед. Рэй заметил, что преподобный Томас был сегодня в ударе. Главное — не смотреть друг на друга. Я изучала вазочку с мятным мороженым и мармеладным драже и белую лилию в горшке, обернутом фольгой. Мы не были вместе с тех пор, как отвезли Дейви в травмпункт. Ни о чем не разговаривали.

До самого вечера смотрели по телевизору пасхальные передачи с розовощекими проповедниками-евангелистами и певчими в одинаковых атласных балахонах. Толпа зрителей не посрамила бы и рок-концерт. Руки раскачивались над головами, как подсолнухи. Христос воскрес!.. Жаль, что я больше в Него не верила.

— Надо туда поехать, — заметила Старр. — Давай в следующем году поедем в Хрустальный собор, Рэй! Давай, а?

— Конечно!

Он переоделся после церкви в свою обычную футболку и мраморные джинсы. Мы играли в китайские шашки с мальчишками и избегали встречаться глазами. Рядом сидела Старр, положив руку Рэю на бедро. Терпеть это не было сил. Когда Дейви выиграл, я вышла на улицу и побрела к реке, все время представляя ее руку у него на джинсах.

Я была плохой, делала дурные вещи, причиняла людям боль и, самое ужасное, не хотела останавливаться.

Синие тени ползли по рыжеватым склонам гор, как руки, ласкающие ноги любимой. На камне, думая, что ее не видно, подняла шею ящерица. Я швырнула камушек, и она скрылась в чапарреле. Я оторвала лист малозмы и вдохнула аромат, надеясь, что прояснятся мысли.

Сначала я почувствовала в сумеречном воздухе его запах — сладковатый запах травки. Рэй вышел во двор. Солнце светило ему в лицо. У меня перехватило дыхание. Теперь я поняла, что вышла не просто так, а чтобы ждать здесь его. Встала на камень с восточной стороны трейлера, где не было окон. Пусть меня увидит. Потом спустилась в песок между валунами.

Минуту спустя я услышала его шаги по руслу реки, сухому, несмотря на то что был еще только апрель. Завтра Дейви прочтет все по нашим следам, но когда Рэй меня коснулся, я подумала, что нам невозможно разлучиться, как бы мы ни старались и кто бы при этом ни страдал. Он коснулся губами моей шеи, сунул руки под рубаху, расстегнул мне брюки. Ноги жаждали прикосновения его голых бедер. Мы опустились в песок и соединились, как половинки магнита. Плевать на скорпионов и техасских гремучников! Плевать на жесткие камни или что нас увидят!

— Что ты со мной делаешь, детка… — прошептал он мне в волосы.

Последний раз я видела взрослую драку той ночью, когда мать ударила Барри ножом. Треск, грохот… Я накрыла голову подушкой, но все равно слышала сквозь тонкую стену каждое слово: пьяные визги Старр и тихие увещевания Рэя.

— Раньше вставал как миленький! Когда не трахал эту с-сучку! Трахаешь ее? Говори, ублюдок!

Я глубже забилась в спальник, обливаясь потом, притворяясь, что речь не про меня, я просто ребенок и не имею к этому никакого отношения.

— Надо было избавиться от нее еще тогда!

Я представила, как Рэй сгорбился на краю кровати, опустил руки между коленями. Он не перебивал, давал ей выпустить пар, уклонялся от пьяных ударов, мечтал, чтобы она вырубилась. Я слышала его голос, по-прежнему спокойный и рассудительный:

— Старр, ты нажралась в хлам.

— Педофил! Детей трахаешь? Что дальше? Собаки? Тебе правда больше нравится эта тощая девка? Глист без сисек!

Жег стыд, что мальчики тоже слушают и теперь знают все.

— У нее дырка уже? Или она отсасывает лучше? А зад дает? Нет, правда, мне интересно, что заводит извращенцев!

Как я могла думать, что это вечно будет сходить с рук? Зачем я только сюда попала, зачем вообще родилась! И все же в глубине души я гордилась, даже радовалась, что Рэй не мог возбудиться. Не мог трахнуть Старр, какими бы огромными ни были у нее сиськи, и даже если она разрешала ему в зад. Он хотел меня.

— Хреновы спонсоры! Вот ты им и позвони! Получу за нее денежки, и до свиданья!

Снова послышался грохот и крики. Дверь распахнулась. На пороге появилась Старр в съехавшем набок розовом халате — огромные груди наружу, в руках «смит-вессон». Эта сцена потом снилась мне долгие годы. Она выстрелила не целясь. Я скатилась на пол и забилась под кровать. В комнате запахло порохом, полетели щепки ДСП.

— Спятила!

Рэй пытался ее остановить. Он выкрутил ей руку и вырвал револьвер. Схватил со спины, потянул на себя, выгибая ей спину. Его член уперся ей в зад. Груди Старр торчали кверху и подрагивали, точно вспугнутые зверюшки. Он подталкивал ее бедрами к выходу.

— Иди в жопу, Рэй! Иди в жопу!

— Всегда пожалуйста!

Они исчезли за дверью.

Хоть бы стали трахаться и забыли про меня!.. В стенном шкафу была дырка. Я схватила одежду. Нечего болтаться со сбрендившей алкоголичкой в доме, полном оружия. Сегодня же позвоню в соцслужбу, потом сообщу Рэю, где я. Оставаться тут нельзя.

Купить полную версию книги

notes

Примечания

1

Простите, у вас есть ДМСО? (*исп.*). — *Здесь и далее примеч. пер.*

2

Отряд СС по вашему приказанию прибыл, мой фюрер (*нем*.).

3

До свидания (*яп*.).

4

Моя маленькая (*фр*.).

5

Сексуально озабоченный персонаж из музыкального фильма «Томми» на основе одноименной рок-оперы.

Пер. О.Н. Чюминой.

Пер. О.Н. Чюминой.